



РОССИЯ  
ДЕРЖАВНАЯ

ЕКАТЕРИНА  
ГЛАГОЛЕВА

ПУТЬ  
ДОЛГОРУКОВЫХ





Россия державная

Екатерина Глаголева  
**Путь Долгоруковых**

«ВЕЧЕ»

2019

**Глаголева Е.**

Путь Долгоруковых / Е. Глаголева — «ВЕЧЕ», 2019 — (Россия державная)

ISBN 978-5-4484-7943-4

Апрель 1730 года. Шестнадцатилетняя Наташа Шереметева, выйдя замуж по любви за опального князя Ивана Долгорукова, отправляется в ссылку с ним и его большой семьей. Путь в Сибирь долог и опасен, жизнь в остроге тяжела и уныла, надежда чередуется с отчаянием, и лишь любовь помогает сносить лишения, пока смерть не разлучит. Действие романа охватывает 12 лет и распространяется на огромные просторы от Москвы до Камчатки, от крымских степей до Петербурга.

ISBN 978-5-4484-7943-4

© Глаголева Е., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

## Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	21
Глава 6	23
Глава 7	26
Глава 8	30
Глава 9	35
Глава 10	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# **Екатерина Владимировна Глаголева**

## **Путь Долгоруковых**

© Глаголева Е.В., 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

## Часть первая

### Глава 1

Тяжелые дубовые ворота медленно отворились, слуги у обеих створок замерли в поясном поклоне, и во двор, посыпанный соломой, въехала тяжелая шестиместная карета с княжеским гербом, запряженная четверней, а за ней колымага с людьми. Кучер остановил лошадей, лакей проворно прыгнул с козел, откинул подножку и распахнул дверцу. Из кареты высунулся плотный, еще не старый мужчина в шубе поверх темно-зеленого кафтана немецкого покроя, в такого же цвета штанах до колен, белых, но замызганных чулках, обхватывавших мускулистые икры, грубоватых башмаках с большими пряжками и в треуголке. Опершись на плечо слуги, он сошел на землю и степенно направился к крыльцу, с которого уже спешил к нему навстречу хозяин без шапки, часто кланяясь. Тем временем из экипажа выбралась дородная женщина в чепце и душегрее на куньем меху поверх русского платья; двое слуг поддерживали ее под руки; она шла, переваливаясь с боку на бок и охая. Следом показалась миловидная молодая, даже юная женщина, одетая в «немецкое» платье из темного дамаста; высокий слуга почтительно предложил ей опереться на его руку, но она знаком отказалась, хотя была бледна и выглядела утомленной, и мелкими шажками пошла за родителями, не поднимая глаз. Наконец, из кареты выпорхнули две девушки-подростка и мальчик лет двенадцати. Двое их братьев, ехавшие верхами, прыгнули на землю и бросили поводья конюхам.

Вся компания двинулась в дом; лакей закрыл дверцу и поднял подножку, карета отъехала в сторону, а ее место заняла легкая кибитка. Рядом с ней гарцевал на гнедом аргамаке высокий красавец в мундире Преображенского полка, поверх которого был накинута заячий тулуп, и в треуголке. Спешившись, он подал руку молодой даме в черном траурном платье и помог ей сойти. Дама отстегнула вуаль, закрывавшую ее лицо, и оказалась совсем еще девочкой с блестящими черными глазами и пухлыми губками. Она о чем-то переговорила с женщиной, остававшейся в экипаже, и словно нехотя пошла в дом, потупив глаза.

Одновременно двор заполнили верховые, слуги приехавших господ; поднялся шум и гвалт, кто-то отдавал приказы, властно покрикивая, кто-то огрызался; лошади ржали.

Жавшиеся к воротам работники жадно и вместе с тем испуганно разглядывали приезжих, уж слишком непривычное зрелище они собой представляли.

– Тот-то, барин, важный такой из себя, – неужто и вправду князь? – спросил один, толкнув соседа локтем в бок.

Работник, присматривавший за хозяйскими лошадьми (какими же неказистыми они выглядели рядом с холеными конями приезжих!), набрался смелости и завел разговор с кучером кареты.

– Это кто ж такой будет, барин ваш? Эва, лошади какие! Так бока и блестят!

Кучер смерил его презрительным взглядом, но ему тоже хотелось поговорить, поэтому он удостоил конюха ответом:

– Князь Алексей Григорьевич Долгоруков – слышал?

По небольшой толпе слушателей пронесся ропот удивления; девка метнулась в сени, чтобы рассказать обо всем хозяйским дочерям, выславшим ее на разведку. Довольный произведенным эффектом, кучер принялся распрягать: господа обедают часа по два, а после обеда и соснуть полагается часок по русскому обычаю, – будет время лошадей напоить и корму им задать...

Взойдя на крыльцо, гости по довольно крутой скрипучей лестнице с двускатной крышей поднялись в сени и вышли в просторную горницу с изразцовой голландской печью. Посередине стояли два сдвинутых рядом липовых стола на точеных ножках, покрытые льняной скатертью; на них уже были приготовлены закуски. К столам придвинули лавки, раньше стоявшие у стен. Кроме поставца с посудой да кованого сундука при входе, мебели больше не было никакой. Сквозь слюдяные окошки сеялся неяркий свет. В углу чуть поблескивал серебряным окладом образ старинного письма, и князь Алексей Григорьевич, остановившись на пороге, снял шляпу, перекрестился и наклонил голову.

Хозяин принялся усаживать гостей. Долгоруков, не обращая на него внимания, сам занял единственное кресло во главе стола; лакей встал за его спиной. Его жена Прасковья Юрьевна села по правую руку от мужа, и дочери поместились на лавке рядом с ней; сыновья сели напротив. К удивлению хозяина, старший сын, красавец-офицер, почему-то оказался в конце стола. Его юная жена, черноглазая Наташенька, сидевшая позади белокурых золовок – Екатерины, Елены и Анны, хотя Анна тремя годами ее моложе, – мысленно его благодарила.

Посуда была оловянная, только кунган, которым хозяин явно гордился, – серебряный, восточной работы, извлекаемый на свет лишь по особому случаю.

– Венгерского у нас в заводе нет, не обессудьте. Вот наливочки не угодно ли откусать? – потчевал хозяин.

После наливки явились щи из солонины («Убоинки еще нет, не побрезгуйте») и два ставца с жареными цыплятами и пшенной кашей. Гости оказались непривередливыми, только старшая из дочерей, Екатерина, почти ничего не ела; ей как будто нездоровилось, и теперь, когда на ее лицо падал свет, видны были синие тени под глазами. Мать начала было пенять ей, подкладывая кусочек понежнее, но Долгоруков цыкнул на жену, и дородная его супруга словно съежилась и сникла; непрошенная слеза скатилась по дряблой щеке и с подбородка капнула в тарелку.

Когда подали пироги с рыбой, на лестнице послышались быстрые и громкие шаги со звоном шпор, дверь распахнулась, и на пороге появился офицер в мундире Преображенского полка. Щелкнув каблуками и слегка наклонив голову в треуголке, он отрекомендовался:

– Капитан Петр Воейков с комиссией от Сената! Господину Алексею Григорьевичу Долгорукову высочайшее повеление!

Все за столом вздрогнули; Прасковья Юрьевна испуганно перекрестилась.

– Его светлости! Князю! – прорычал Долгоруков. – Шапку долой!

Нимало не смутившись, капитан сделал два шага вперед, снял треуголку и размашисто перекрестился на иконы, затем достал из-за пазухи свернутую в трубку бумагу с печатью.

– *Князю* Алексею и *князю* Ивану Долгоруковым приказано сей манифест прочитать и кавалерии сдать, – объявил он.

Сопя, как бык, Долгоруков взломал печать и стал медленно читать бумагу. «Объявляем во всенародное известие... Князь Алексей Долгорукий с сыном своим Князь Иваном и с братьями родными... Богу противным образом... блаженные памяти Племянника Нашего... привели на сговор супружества к дочери его Княжне Катерине... Многие непорядочные и противные дела... Многий наш скорб к себе забрали и заграбили... По Государственным правам подлежали жестокого истязания, однако ж Мы, Наше Императорское Величество, того чинить им не указали, а повелели ему Князь Алексею с женою и со всеми детьми, кавалерию сняв, жить в дальних деревнях... Анна. Апреля 14 дня 1730 года».

Воейков насмешливо наблюдал за ним. Прасковья Юрьевна растерянно переводила взгляд с мужа на сына и обратно, пока не устремила его в красный угол и принялась часто креститься, шевеля губами. Дочери сидели, опутив головы; Иван побледнел, в глазах Наташи застыл испуг; Николай двигал желваками; Алексей в упор рассматривал преображенца, словно

примеривая его мундир на себя; только младший, Александр, хотел есть дальше, но, видя, что никто не прикасается к еде, с сожалением положил свой кусок обратно на тарелку.

Алексей Григорьевич дочитал манифест, который отправлял в ссылку, лишив чинов и регалий, и его братьев Сергея Григорьевича и Василия Лукича. Тянуть дальше было бы смешно и глупо.

– Ну что стоишь? – рявкнул он на лакея, застывшего за его стулом. – Неси ларец мой. Из кареты. И ты, голубушка, распорядись, – словно с издевкой сказал Екатерине, а на Ивана даже не взглянул.

Щеки Екатерины вспыхнули румянцем. Она бросила на отца недобрый взгляд из-под ресниц, но быстро овладела собой и ровным тоном сказала лакею:

– Передай Теодору: пусть подаст мою шкатулку.

Иван встал и сам спустился вниз.

Хозяин растерянно хлопал глазами, не зная, что и подумать. Томительно тянулись минуты ожидания. Первым вернулся Иван. Не глядя на Воейкова, положил на стол орден Андрея Первозванного, обернутый голубой лентой. Алексей Григорьевич достал из принесенного лакеем ларца своего «Андрея» с бриллиантами и рубиновый крест Александра Невского и, прежде чем отдать, истово приложился к каждому, словно к святым мощам. Его дочь извлекла из шкатулки красную ленту, на которой висел знак ордена Святой Екатерины, и равнодушно протянула офицеру. Тот бережно завернул все ордена в тряпицу, сунул за пазуху, надел треуголку и отсалютовал:

– Ну, скатертью дорога!

Звон шпор на лестнице, стук копыт по двору... Когда все стихло, Алексей Григорьевич встал, резко отодвинув кресло.

– Ну, чего расселись? – со злостью сказал он семье. – Ехать надобно, поспешать!

И пошел к выходу. У Прасковьи Юрьевны задрожал подбородок, глаза наполнились слезами, и она привычно промокнула их платком, шмыгнув носом. Все гуськом спустились по лестнице.

У кареты князя нагнал хозяин.

– Как же насчет денег? – спросил он встревоженно, но без прежней робости. – Пили, ели... Лошадям сколько сена скормили... А то ведь и офицера кликнуть могу, чай, недалеко отъехал...

Дерзость была превеликая. Алексей Григорьевич побагровел и, размахнувшись, ударил невежу в ухо; попадись ему под руку арапник – тому бы дня три потом лежать да охать.

– Молчать, холоп! – крикнул страшным голосом.

Хозяин повалился ему в ноги, униженно прося прощения.

– Выдай ему... сколько причитается, – сквозь зубы процедил Долгоруков слуге и забрался в карету.

Усидеть в карете было трудно: ярость, клокотавшая в груди, рвалась наружу. Сейчас бы сесть верхом – да в поле во весь опор, ловить ветер раздувающимися ноздрями, нестись между небом и землей очертя голову, размыкать злость, вытрясти ее из себя... Да нельзя: пусть видят, что князь Долгоруков степенно следует в свои деревни, а не бежит, как вспугнутый заяц. Ведь как заговорил! Купчишка... сволочь... Мерзавцы! Пока твердо стоял на ногах, глаза поднять боялись, а стоило пошатнуться, так они уж и кричат: бей лежачего! Нет, сукины вы дети, меня еще не повалили, рано радуетесь!

– Что ты, батюшка?

Верно, какие-то мысли сами сказались, и добрая Прасковья Юрьевна подумала, что муж говорит с ней.

– Молчи, дура! – огрызнулся тот и откинулся на подушки, закрыв глаза.



Но мысли так просто не прогонишь, и Алексей Григорьевич продолжал вести разговор сам с собой. Да с собой ли? Мнилось ему, что сидит напротив знакомая фигура, положив руки на палку с тяжелым набалдашником, и усмехается, ощерив зубы под приподнятой усатой губой. Мол, что, Григорыч? Отольются кошке мышкены слезки? Думал, что свалил меня – и все по твоей воле будет, а она как обернулось: за мною вслед едешь, тою же дорогой!

Александр Данилыч... Смейся, смейся... Твоей дорожкой, говоришь, иду? А ты меня с собой не равняй. Да, высоко ты вознесся. Хотел свою дочь царицей сделать – и сделал бы, если бы императрица, эта портомоя лифляндская, подстилка солдатская – прости меня, Господи, нехорошо так о покойнице, – если бы не отдала Богу душу не вовремя. А какое ты право имел? Светлейший князь! Из грязи в князи-то вылез! А Марья Владимировна Долгорукая была супругой царя Михаила Федоровича, да-с, Долгоруковы-то от Рюриковичей свой род ведут! Не помер бы государь Петр II накануне свадьбы, была бы сейчас Катька императрицей – все бы в ногах валялись: и Голицыны, и Головкин, и Остерман. Да хоть бы и помер – выправили бы завешание, и никто бы не пикнул. А все Ванька-дурак, дурак и трус. Какого пса его послушал! И потом – ездил все к своей крале плакать, вместо того чтобы полк свой под ружье поставить да к Кремлю привести! Жениться ему приспичило! И на ком! Польстился на богатство да на личико смазливое, а где оно теперь, это богатство? И что толку в такой жене? Девчонка еще, дура набитая, только ресницами хлопать умеет да слезы лить. Круглая сирота... Добро бы жив был отец ее, Борис Петрович, – тогда вышел бы совсем другой разговор! Шереметевы да Долгоруковы – эту силу никто бы не осилил. А так – эх... И Катька дура, не убереглась, ребенка мертвого скинула... Был бы живой, да если б еще мужеского пола – прямой побег от царского корня, плоть от плоти...

Алексей Григорьевич бросил недобрый взгляд на старшую дочь, сидевшую у окна с задернутой шторкой.

Весть о том, что через Коломну едет невеста покойного государя, быстро облетела весь город. Вдоль дороги стояли женщины с младенцами на руках, порой и мужики затесывались среди них, жадно вытягивая шею из задних рядов. Да и было на что поглазеть: гайдуки, скачущие впереди кареты, кибитки, фуры, колымаги, подводы, да конюхи, гонящие расседланных лошадей (ай да кони! не иначе, заморские!), да псары со сворами борзых и гончих... Старики, выдавшие царский поезд, словоохотливо сравнивали его с княжеским и находили много благодарных слушателей.

Екатерина прислонилась головой к мягкой обивке кареты и закрыла глаза, притворившись, будто дремлет. Ей было тошно от докучливой заботливости матери, попреков отца и непроходимой глупости сестер. Она хотела бежать от всего этого – и от того, что тянулось сейчас за окном. Душа ее рвалась отсюда прочь, словно нежная канарейка, пойманная в силос и томящаяся в клетке у окошка вонючей избы. Все здесь ей было противно, с тех самых пор, как ее привезли обратно домой из Варшавы, где она жила у дяди. Иван обрусел очень быстро, а она чувствовала себя чужой. Неужели ей никогда не вырваться из клетки, неужели таков ее жребий? Боже, ты этого не допустишь! Чем я так прогневила тебя?...

К чему лукавить: она прекрасно знает ответ на свой вопрос. Зачем она согласилась участвовать в этой гадкой игре, где весь ее профит был в том, что она сменяет железную клетку на золотую?! Что проку быть женой императора? Простая купчиха чувствует себя большей хозяйкой в своем доме, чем она была бы во дворце. Петр повзрослел бы и перестал бы считаться с ее семьей, а если бы она превратилась в помеху его желаниям – прогнал бы или заточил в монастырь, как его дед его бабу... Дочь не должна перечить отцу... И вот она пожертвовала своей любовью, своим счастьем – ради чего?...

Из-под опущенных век скатились две слезинки, оставив мокрый след на щеках. Нет, не подавать виду, что ей больно! Екатерина отвела рукой штормку и выглянула в оконце кареты. Стоявшая у обочины старуха увидела ее и перекрестила.

## Глава 2

Наташенька ехала со своей мадам в двухместной кибитке; девка сидела на козлах рядом с кучером, а Иван скакал рядом верхом. Коляска еле-еле тащилась по раскисшей дороге, лошади выбивались из сил, вытаскивая ее из грязи; когда Ивану надоедало плестись шагом, он прищипоривал коня и уносился вперед, вдоль растянувшегося поезда, и тогда Наташа беспокоилась, в тревоге высывалась из-за полога и, нашарив взглядом стройную фигуру мужа, уже не сводила с нее глаз.

Была середина апреля; весна уже вступила в свои права и вытурила в шею зиму, которая в спешке позабыла кое-где под кустами в перелесках клочки ноздреватого снега. Небо сияло незабудковой синью, свежий воздух щекотал ноздри, и от солнца хотелось чихать. Но земля, пропитанная талой водой, дышала холодом.

Поезд остановился. Верховые съехались в кучу; кучера слезли с облучков и подошли к ним; все махали руками и указывали кнутовищами в разные стороны; поднялся страшный гвалт. Наташа высунулась из кибитки.

– Что там, Ванечка, голубчик? – крикнула она, радуясь возможности поговорить с мужем.

– Да река разлилась, дороги не видать, – беззаботно отвечал Иван, вглядываясь в даль из-под руки, козырьком приставленной над глазами. И добавил поспешно: – Не бойся, моя ясынька, видно, крюк дать придется, ну так что ж?

Посоветовавшись, кучера вернулись к своим экипажам; гайдамаки развернули карету вправо, подняв за заднюю ось; людей высадили из фур и колымаг для того же маневра; кучера стали нахлестывать лошадей, осыпая их грубой бранью. Немка-гувернантка, сидевшая рядом с Наташей («мадам», как та ее называла), досадливо морщилась: она почти двадцать лет жила в России и брань распознавать научилась давно.

Теперь тащились едва-едва: несмотря на удары бича, лошади, привыкшие к городским улицам, едва выпрастывали ноги из топкой жижи, карету подбрасывало на кочках и нещадно раскачивало во все стороны. Прасковью Юрьевну растрясло, младшие княжны начали хныкать; кучеру велели остановиться и открыть дверцу, чтобы дать им воздуху; расторопная девка куда-то сбегала и принесла барыне пососать лимон. Средство подействовало, двинулись дальше; Анна и Елена чмокали лимоном, Екатерина отказалась, хотя была бледна как смерть.

Взобрались на пригорок. Оттуда, куда ни глянь, открывался все тот же вид: справа – буроватая земля с налетом яркой зелени, слева – серо-синяя маслянистая вода, отгороженная частоколом сухого прошлогоднего рогоза и шатрами желтоватых ив. За растекшейся рекой висело солнце, и снизу к нему поднималось вытянутое простынькой облачко.

Решили заночевать здесь. Несмотря на тряску, свежий воздух быстро вернул путешественникам аппетит. Слуги сутились, разводя костер и готовя ужин. Лошадей распрягали.

Младшие Долгоруковы развлекались, бросая комья грязи в реку – кто дальше. Наташенька выбралась из кибитки и неуверенно подошла к свекрови, стоявшей у кареты в окружении дочерей. Она еще не привыкла к новой семье, робела своего положения младшей и не знала толком, как себя вести.

– Ступай, ступай, матушка, – махнула на нее платком Прасковья Юрьевна. Екатерина отошла в сторону и всем своим видом показывала, что хочет побыть одна. Провожаемая взглядами хихикавших младших золовок, Наташа пошла обратно.

Слуги достали из фура палатки и принялись их устанавливать: самое сухое место отвели для князя с княгиней, рядом – для барышень, для барчуков и для Ивана с женой. Мадам осталась ночевать в кибитке: ничего, успокаивала она Наташу, укутаюсь, не замерзну. Наташа обвила ее руками за шею и поцеловала; она чувствовала себя виноватой.

Ужинать подали, когда уже свечерело. Ели кашу, приправленную салом. Костер дымил, щелкали сыроватые дрова. Искры взмывали в сапфирное небо. Наташенька проследила за ними взглядом и ахнула от удивления: в синеве сияли два месяца – большой и малый.

– Ванечка, что бы это значило?

Иван посмотрел, пожал плечами: не мастак он знаменья толковать.

– Как ты думаешь, к добру или к худу?

– Конечно, к добру, куда уж хуже-то, – сказал Иван и засмеялся, чтобы она поняла, что он шутит. – Иди, ясынька, ложись, я скоро.

В палатке Наташа раскрыла походный складень, встала перед ним на колени и помолилась. Потом легла на приготовленную постель, свернулась калачиком и расплакалась. От слез веки отяжелели, голова прикипела к мокрой подушке. Полог откинулся и тут же закрылся, кто-то теплый привалился рядом – от него попахивало вином, но когда он обхватил ее своей сильной рукой, Наташа прижалась щекой к его груди, просунула холодные руки под кафтан, угре-лась и скоро заснула.

...По лестнице, спускающейся от крыльца усадьбы, она сбегает к пруду. На той стороне стоит матушка у беседки и машет ей рукой, и ей очень хочется туда, но как перебраться? Наташенька оглядывается в поисках лодки, но нет никого, все ее покинули. У воды становится холодно, так что по телу пробегает дрожь. Она со страхом наклоняется и смотрит на свое отражение поверх склизких буро-зеленых водорослей. И вдруг из них выпрастывается цепкая рука с твердыми острыми когтями и хватает ее за ногу, тащит к себе. Водяной! Наташа падает, цепляется за землю, царапая ладони, хочет закричать, позвать на помощь – и не может. Вот уж ноги ее в воде...

Наташенька вскрикнула и проснулась. Лежала, вытаращив глаза в темноту, а сердце билось пойманной птичкой где-то у самого горла. Наконец в ушах перестало звенеть, и она расслышала рядом чужое дыхание. Муж! Муж ее здесь, она не одна! Но ноги совсем заledenели, она даже не чувствовала пальцев, не могла ими пошевелить. Чулки были мокры, да и попона, которую им постелили, насквозь сырая.

– Ванечка, Ванечка! – Губы прыгали, челюсти сводило, дыхание перехватывало. Наташа коснулась холодной ладонью мужниной щеки.

– Что? Где? – Иван спросонья пошарил перед собой рукой и вляпался в какую-то мок-рядь. – Ах ты, еть...

Он вовремя опомнился.

Палатку им поставили в низине, практически на болоте, и теперь они лежали в воде. Иван выбрался наружу, расчихвостил людей, дремавших у полупотухшего костра, велел разжечь его пожарче и приготовить барыне горячего питья.

По земле стлался молочный туман. Было тихо, даже птицы еще не проснулись. Окоем на востоке посветлел, но солнце еще не показало и краешка. Люди тихо переговаривались осипшими голосами. Затрещали сучья, костер окутало едким сизым дымом. Иван на руках пере-нес Наташу в кибитку, снял с нее мокрые башмаки и чулки, стал растирать ей ноги водкой и соломой.

– Oh mein Gott, sie ist ganz erfroren! – всполошилась немка. – C'est un crime de faire ça à votre femme, Monsieur Ivan, pensez à vos futurs enfants! <sup>1</sup>

Наташенька застыдилась.

Переодеться было не во что. Иван снял с себя тулуп и обернул им ее голые ноги. Заставил выпить водки. Наташа к водке была непривычна, закашлялась, так что слезы выступили на глазах. Ей дали краюшку хлеба – зажевать, но голову мгновенно повело. Зато стало тепло.

---

<sup>1</sup> О Боже, она совсем закоченела! (нем.) Поступать так с вашей женой преступно, месье Иван; подумайте о ваших будущих детях! (фр.)

Она привалилась к плечу Марии Штауден, подобрав под себя ноги, и заснула крепко, без снов. Когда ее разбудили завтракать, солнце уже поднялось и сбросило с себя алую перину зари.

День выдался теплый, даже жаркий. Святой Николай не оставил путников своей милостью: послал им мужиков, шедших куда-то по своим делам, и те вывели на торную дорогу. Лошади бежали ходкой рысью. По обе стороны дороги простирались поля и луга, но не ровной скатертью, а вспученные буграми холмов с венчиками березняка. Яркая зелень поначалу радовала глаз, но по мере того как солнце поднималось к зениту, густой, острый запах лугового чеснока залепил ноздри, проникал во все щелочки. От него ужасно болела голова. Не спасал и смоченный водой платок, прижатый к носу.

Когда вдалеке показалось село со скромной маковкой низенькой церкви, ему обрадовались, точно земле обетованной. Выслали вперед людей – договориться о постое.

Наташу провели в избу, постелили ей на лавке в красном углу, чтобы она могла отдохнуть. С полатей высунулись три светлые лохматые головки и, разинув рты, во все глаза смотрели на то, что происходит. За окном послышалось хлопанье крыльев, всполошенное кудахтанье, резкий металлический удар топора. В сени вошла молодая женщина в повойнике, заглянула с любопытством в комнату сквозь приоткрытую дверь, но не вошла, а села и стала споро ошипывать безголовую курицу.

Иван взбежал на крыльцо, вошел скорой торопливой походкой:

– Ластынька моя, доставай шкатулку, мне денег надобно. Сена лошадям купить.

– Сколько, Ванечка?

– Рубль с полтиною.

Наташа всплеснула руками.

– Что ж так дорого, Ванечка? Этак ведь скоро все деньги издержим! Едем всего пять ден, а двадцати рублей как не бывало!

– Так ведь весна, матушка, сена ни у кого не добудешь, ниже овса; сами, говорят, соломой кормим. Насилу уговорил одного, и то еще дешево!

Наташа развязала кошелек и подала ему деньги. Иван тотчас ушел, а она легла, зарылась лицом в подушку и немного поплакала. Дура она, дура! Пока свой умишко не отрос, чужим бы попользовалась! Ведь видела, как свекровь и золовки собираются в дорогу: рассовывают по карманам бриллианты, золотые часы, всякую галантерею, а она что имела при себе из золота, серебра – все отпустила брату на сохранение, оставила лишь золотую табакерку, царский подарок. Не то что алмазные вещи, даже кружевные манжеты, чулки, платки шелковые – все отослала: зачем, мол? Где их там носить? Да ведь и воротимся скоро. Шубы богатые все оставила, взяла лишь тулуп заячий мужу да себе шубу попроче. Брат прислал на дорогу тысячу рублей – взяла чetyреста, остальные вернула назад: едем-то на общем коште... Как же, на общем! Они князь и княгиня, сами за себя платить должны! А Иван понадеялся на нее...

Поплакав и поругав себя так, она села на постели, кликнула девку и велела подать себе умыться: муж не должен видеть ее в слезах. В избе было душно и скучно, и Наташа пошла искать Ивана.

Заядлый лошажник, Иван взял с собой пять любимых лошадей: одного жеребца и четырех кобыл. Смотреть на них, пока их кормят, выводят и чистят, было Наташиной отрадой. Все гнедые, только ласковая и послушная датчанка рыжая, со светлыми хвостом и гривой и белыми пятнами на морде и на передних ногах. Наташа больше всех ее жаловала, ласкала и баловала; вот и сейчас припасла ей ржаную краюшку.

– И отчего это, Ванечка, ты больше гнедых лошадей любишь?

– Умные люди говорят: «Люби серую, продай вороную, а на гнедой ездй сам».

Наташе нравилось слушать, как Иван рассказывает о лошадях, их достоинствах и поведенках. Вот стройный изящный аргамак. Точеная головка с широкими ноздрями и маленькими ушами, красивый изгиб подщечины, лебединая шея, шелковистая грива. Когда бежит, держит



хвост торчком, закрывая всадника. А вот высокая ганноверская лошадь с выразительными глазами на горбоносой морде, кажется, вся сплошь состоит из мускулов. Прыжок у ней больно хорош, как в сказках: реки и доли хвостом замечает, горы-леса между ног пропускает.

– А это шведка, ух ты, моя красавица! Король шведский Каролус разводил их для своей кавалерии.

– И при Полтаве такие были? – спросила Наташа.

– Должно, и при Полтаве.

– Может, и мой батюшка ездил на такой. – Наташа и ей отщипнула хлебушка.

Отца своего она совсем не помнила, он умер, когда она была еще несмышленьким, но матушка рассказывала детям о его подвигах и заслугах пред государем и отечеством. В московском доме Бориса Петровича хранились его ордена, мундир, а еще седло того самого Каролуса шведского, добытое в Полтавском сражении.

Голштинская кобыла потянулась за своей порцией лакомства; на большой голове влажно блестели глаза под длинными пушистыми ресницами, крепкое копыто нетерпеливо стучало об пол. Иван любовно потрепал ее по холке.

– Вот, говорят, чистокровные лошади всех ценней, а ведь в этой всяких кровей намешано: и немецких, и итальянских, и испанских, и арабских. И какова? Загляденье!

Наташа, любясь, снова обошла всех лошадей:

– Была бы я живописцем, писала бы их портреты.

Лошади жевали дорогое сено, а молодые хозяева стояли и смотрели на них, позабыв обо всем.

– Ванечка, а ты научишь меня ездить верхом? – спросила Наташа.

– Зачем это? – искренне удивился Иван.

– Да как же? Вон царевна Елизавета Петровна какая ловкая наездница и с вами завсегда на охоту ездила!

– Шалава она. А ты у меня только на одном жеребце скакать будешь, да без седла!

И привлек ее к себе. Наташа прятала жарко вспыхнувшее лицо, даже побила мужа кулачками по груди, но было ей и стыдно, и отрадно.

### Глава 3

Линялый заяц, лакобившийся озимью, слышал конский топот и лай собак, встал столбиком, а потом пустился улепetyвать к спасительному леску в зеленой дымке проклюнувшихся почек. Но было поздно: его заметили. Алексей Григорьевич не утерпел и велел подать себе коня. Тотчас собралась партия; стаю борзых спустили со своры и поскакали следом.

Охота была любимым (и единственным) развлечением мужчин в пути, и они никогда не упустили случая позабавиться; только Алексей остался при матери.

Земля задрожала... Охотники разворачивались в равнину, чтобы объехать зверя, а затем травить внутрь круга. У каждого была своя свора борзых, даже у двенадцатилетнего Александра.

– Иван, стой! – Заслышав голос Николая, Иван натянул поводья и попридержал коня. – Стой, мне поговорить с тобой надо.

Аргмак нетерпеливо перебирал ногами на месте и коротким ржанием выразил свое недовольство.

Николай подскакал, и братья поехали рядом, пустив лошадей шагом и отправив людей вперед. Младший смотрел прямо перед собой, хмурил густые черные брови, собираясь с мыслями.

– Как думаешь, надолго ли? – спросил он наконец.

Иван понял, что он хотел сказать, и понурил голову.

– Виноват я перед тобой, брат, – сказал он, теребя поводья. – Ведь вас всех из-за меня... Да на тебе вины-то никакой нет, в указе и помину не было. Поживем в деревне тишком да молчком, оно и позабудется. Напишешь прошение государыне... Это меня Ягужинский со свету сжить хочет, а тебе-то что ж...

Николай невесело усмехнулся:

– А то ты не знаешь! У нас ведь как: если дерево рубить, то под корень.

Они помолчали. Обоим было не по себе.

– Эх, не надо было Катку государю сватать! – с сердцем воскликнул Иван.

– Ты ж их и свел?

– Свел... Батюшка приказал. Я ведь, Николаша, меж двух огней: и отцу покорность окажи, и государю послужи. А ведь любил же его я!

– Кого?

– Государя нашего, Петра Алексеича. Веришь ли, как родного любил! А сказал бы он мне в огонь за него пойти – пошел бы! Добрый он был и ласковый, а то вдруг замолчит – и взгляд затуманится... Хоть и отрок еще, а многое понимал. Меншиков его все за дитя считал, думал, что командовать им сможет, – да просчитался. А батюшка думал обманом взять, улестить – и он просчитался. Государь-то видел, что его хотят насильно женить, за рога да в стойло. Ох, не надо было ему Катку-то подкладывать... Пусть бы на Елизаветке женился...

– Что ты, она ж ему тетка родная!

– Ну и что? Синод бы разрешил. А государь бы счастлив был, может, и не заболел бы да не помер бы тогда... Были бы мы с тобой сейчас в чести... Эх, да что говорить! – Он махнул рукой.

– Да Елизавета Петровна не любила его. Она в Шубине своим души не чает.

– А Катка любила?... Шубин – что, первый он у нее, что ли? Наигралась бы да бросила. Петр Алексеевич бы в пору вошел – красавцем бы стал. Ему ведь возрасту было годом меньше, чем Алешке нашему, а уж каким орлом смотрел!.. Эх, жаль мне его, ах, как жаль! – Ивану сдавило горло, слезы побежали из глаз, он утер их рукавом.

Звук охотничьего рога оборвал их разговор. Оба разом повернули головы. Оказалось, что они сильно забрали вправо и теперь едут берегом какой-то речушки, скрытой от глаз зарослями орешника, а охота идет на той стороне: лают собаки, щелкают арапники, выгоняя зайца из мелочей на борзятников со сворами, шумят кричаны...

– Надо бы туда поскорей, – встревожился Иван, – батюшка хватится, что нас нет, осерчает.

Он тронул коня и направил его к воде.

– погоди, брат, – остановил его Николай. – Не зная броду...

– Да ручей-то курам на смех, – указал Иван кнутовищем. – Три сажени, не боле. Где ему глубоким быть, враз перейдем.

– Дай сперва я, – не уступал младший. – Ты в шубе, на мне один кафтан, да и лошадь у меня посмирнее будет.

Иван пожал плечами и посторонился. Николай осторожно подъехал к краю воды. Его кобыла фыркнула и остановилась, встряхнув длинной гибкой шеей. В лицо пахло сыростью. Берега были глинистые, подмытые потоком. На темной маслянистой глади – ни ряби, ни морщинки; длинные склизкие стебли грязно-зеленых водорослей тянутся за течением. Призывный рог послышался снова, лай усилился: травля была в разгаре. Николай решился и сжал коленями бока лошади, гоня ее вперед. Кобыла снова фыркнула и осторожно ступила передними ногами в воду; по всему ее телу пробежала дрожь. «Вода-то, видать, холодненька», – успел подумать Николай, и тут копыта заскользили по глине, лошадь окунулась по грудь, дернулась, коротко всхрапнув, и он свалился в воду, от которой сразу же перехватило дыхание.

Течение, почти незаметное с берега, оказалось сильным: Николая, не чувствовавшего дна, унесло от лошади; его скрюченные пальцы лишь скользнули по мягкой гриве. Он попытался схватить повод, но кобыла, запутавшаяся задними ногами в коварной подводной траве, высоко вскинула голову. Намокшая одежда отяжелела, тянула вниз; вода плеснулась в ноздри, ожгла нос изнутри и тут же залилась в раскрывшийся рот; Николай без толку взмахивал руками и все хотел встать на ноги, а дно ускользало, вода смыкалась над вытаращенными глазами...

Иван метался, не зная, что ему делать: там, куда снесло Николая, берег был уже высок, и даже встав на колени, он не мог дотянуться рукой до брата, чтобы подать ему помощь. Вдруг сзади послышался конский топот; Иван обернулся: к ним скакал во весь опор один из людей, которых они услали от себя. На ходу сбросив кафтан, он соскочил с коня и, как был, в сапогах, прыгнул в речку. Николай уже ушел под воду; Прохор (Иван теперь узнал своего конюха) вытащил его за волосы, обхватил одной рукой за шею и, загребая другой и сильно болтая ногами, выплыл на место, где берег вновь становился отлогим и можно было встать. Иван уже прибежал туда, он принял брата у Прохора, подхватил под мышки и выволок наверх, на траву.

– А кобыла-то? – Стоя по колени в воде и тяжело дыша, Прохор озирался вокруг себя.

Кобыла была уже здесь; выпутавшись из подводных тенет, она плыла, кося безумным глазом; Прохор ухватил ее за повод и, с трудом выпрастывая ноги из топкого ила, вывел на берег.

Николай стоял на четвереньках, его рвало водой. Иван стащил с него мокрый кафтан и отдал ему снятый с себя тулуп. Брат стучал зубами, его трясло.

– Поезжайте вдвоем, Гром вывезет, – бросил Прохор через плечо: он осматривал кобылу.

Иван кликнул своего коня, вскочил в седло; Прохор помог княжичу усесться сзади.

– Баню велите, чтоб протопили! – крикнул он вслед.

Уже вечерело, и холод пробрал его до костей. Он снял с себя рубаху, выжал ее посильнее, снова надел, с трудом стащил выпачканные илом сапоги, растер себе ступни пучком травы, кое-как обтер другими пучками дрожавшую от пережитого ужаса кобылу, надел в рукава кафтан, подозвал свою лошадь, приторочил сапоги к седлу и поскакал в деревню, ведя кобылу в поводу.

Прасковья Юрьевна с дочерьми и сыном вышла на улицу встречать мужа с охоты. Две девки вели ее под руки; она шла медленно, переваливаясь по-утиному. Екатерина охотно осталась бы в избе, но там было смрадно и душно.

У околицы уже маячили две одинокие женские фигурки: Наташа со своей мадам поджидала дорогого друга.

На дороге показалась кавалькада, и скоро по единственной деревенской улице уже скакали охотники с собаками; дети и девки приникли к окошкам или смотрели в щелочку из сеней.

Алексей Григорьевич был доволен: у его седла болталась притороченная за шею лисица, выбравшаяся на свою беду мышковать; Александр, ехавший рядом с отцом, заранее предвкушал свое торжество, когда покажет сестрам, вечно над ним трунившим, двух зайцев, которых он сам затравил и заколол. В глубине души ему хотелось, чтобы и Наташа ему подивилась, но он почему-то боялся себе в этом признаться.

– Ахти, Господи, извозился-то как! – всплеснула руками Прасковья Юрьевна.

– А чего ж ты хотела, матушка, в брызги на охоту ездить – это тебе не по паркетам туфлями шаркать! Вели мне чистую одежду подать, да русскую – полно в немецком тужиться, русскому человеку в русском сподручнее!.. Чего скривилась, аль неверно говорю?

Последняя фраза предназначалась старшей дочери. Екатерина промолчала, стиснув зубы и полуприкрыв глаза. Как же она ненавидела сейчас отца, его самодовольный вид, обвислые щеки с красными прожилками, влажный рот со скверными зубами, злые колючие глаза!

Прасковья Юрьевна двинулась обратно; Александр украдкой оглянулся на Наташу, растерянно перебежавшую взглядом с одного охотника на другого, и пустил коня вскачь. Улица опустела, остались только две одинокие женщины.

Где-то в горле у Наташи свернулась комочком тревога, которую было ни проглотить, ни выплюнуть. Солнце зависло над кромкой леса, в последний раз показывая себя миру во всей красе, и облачко, вздумавшее прошмыгнуть мимо него, вспыхнуло и покраснелось. На кусте гомонили воробьи, но вот и они вдруг вспорхнули и разом умчались куда-то всей стаей, как будто там что-то случилось. Наташа невольно проследила за ними взглядом. Где Иван? Что с ним? Почему он не приехал со всеми? И почему всем как будто нет до него никакого дела? Холодный влажный ветерок мазнул ее по лицу; Наташа до боли в глазах вглядывалась в даль, вцепившись озябшими руками в прутья плетня, за которым простиралось ровное поле с прожилкой дороги, и ей показалось, что она осталась одна на всем белом свете. «Ванечка! – шептала она. – Ванечка!»

На дороге показался всадник; дробный конский топот звонко раздавался в вечерней тиши. Еще несколько мгновений – и конь поравнялся с женщинами; на нем были два седока.

– Что? Что случилось? – вскрикнула Наташа.

Иван придержал коня, заплывавшего на месте, указал на брата, сидевшего позади:

– Вот он мне жизнь спас, молитесь за него! – и ускакал.

Наташа ахнула, прижав руки к груди, а потом подобрала подол и побежала что есть мочи следом. Она хватала ртом воздух, ее душили рыдания, но одновременно ей хотелось смеяться: жив! Жив!

Когда Прохор подъехал к избе, все уже знали о происшедшем. Отметив с удовлетворением, что над баней курится дымок, Прохор оборвал расспросы четырех обступивших его конюхов, велел мальчишке почистить его сапоги, а ему принести чирики и, отослав всех от себя, остался на дворе с лошадьми. Кобыла успокоилась и мирно жевала сено. Прохор расседлал ее и покрыл попоной. Настроение у него было хуже некуда: у кобылы порваны губы и копыто треснуло, перековать давно было пора. Вот ведь люди: ни ездить, ни ходить за лошадьми не умеют!

В это время Иван уже по пятому кругу рассказывал о дневном происшествии, каждый раз прибавляя новые подробности. Наташа ахала и всплескивала руками, немка повторяла «О майн Готт!»<sup>2</sup>, Николай, разомлев от домашнего тепла и выпитой чарки, сидел на лавке, прислонившись спиной к печи и полузакрыв глаза, а у двери переминалась с ноги на ногу девка, присланная Прасковьей Юрьевной, которая наконец-то заметила исчезновение Николая. Ей было велено единым духом нестись обратно, если что узнает; она понимала, что за промедление будет таска, но так отрадно побыть вдалеке от охающей, вечно всем недовольной барыни, которой все равно не угодишь, что она стояла и слушала, стараясь запомнить побольше, чтобы красочным рассказом извинить себя от наказания.

В небе уже проступили звезды, только узкая полоска на закате оставалась светлой, и, если смотреть туда, казалось, что еще день, а стоит отвернуться – как есть уже ночь. Похолодало; кони иногда зябко вздрагивали всей кожей и шумно вздыхали. Открылась дверь избы, и на крыльце появилась женская фигурка, замотанная в платок. Постояв немного, чтобы глаза привыкли к темноте, она спустилась на двор и пошла к Прохору, гремя огромными чеботами и держа что-то перед собой обеими руками. Не дойдя нескольких шагов, фигурка остановилась в нерешительности. Это была девочка-подросток, круглолицая, со вздернутым носиком и длинной косой, кончик которой торчал из-под платка.

– Здравствуйте, – сказала она почти шепотом.

– Здравствуй, – буркнул Прохор.

– А я вам бражки принесла, для сугреву... Тятя баню пошел топить, но нескоро еще справит. Не простудились б вы...

Прохор повернулся к ней и оглядел с ног до головы. Она протянула ему глиняную чарку. Он выпил, утер рот рукой.

– Благодарствуй.

Девочка осмелела.

– Там барин такие ужасти рассказывает! – доверительно сказала она, принимая у него чарку и кутаясь в платок.

– Это они могут – рассказывать, – согласился Прохор. – Ты бы шла в избу, замерзнешь. Я-то теперь не пропаду, спасибо тебе.

Лицо девочки вдруг озарилось улыбкой, от чего она совсем преобразилась: на щеках обозначились ямочки, а глаза словно засияли изнутри. Прохор невольно залюбовался ею.

– Так я пойду, – сказала она. – Прощайте.

– Будь здорова.

И когда она уже повернулась, чтобы идти, бросил вдогонку:

– Как звать-то тебя?

– Дуней, – ответила девочка. И тотчас поправилась: – Евдокией Мироновной.

Прохор усмехнулся и покрутил головой: ишь ты, Евдокия Мироновна!

Сделав два шага, Дуня снова обернулась:

– А вас?

– Прохор я. Семенов.

– Легкого вам пару, Прохор Семеныч! – В три прыжка Дуня уже была на крыльце, стуча своими чеботами; скрипнула дверь, в сенях всполошенно завохтали куры.

Небо погасло. Прохор стоял в темноте, улыбался своим мыслям и крутил головой: ишь ты!

---

<sup>2</sup> О Боже мой! (нем.)



## Глава 4

Бывает, обронит кто-то слово невзначай, а оно вдруг заползет в душу другому человеку, словно червь в яблоко, и точит, точит ее, невидимое снаружи... Вот так и с Прохором случилось. Когда все уселись обедать, заговорили о том о сем, кто-то в очередной раз вспомнил: «А наш Прохор-то, слышь-ка, княжича из воды вытащил!» И тут дед Василий и скажи: «Да... А Борис Петрович-от, Шереметев, вольную дал Игнату, когда тот на охоте от медведя его спас». Разговор перекинулся на разные случаи, бывавшие на охоте, но Прохор уже не слушал; в голове его звучало одно: «Вольную дал... вольную».

У него словно шоры спали с глаз, и он увидел то, чего раньше не замечал. Куда они едут? В дальние деревни. Как они там станут жить?... Чем дальше от Москвы, тем беднее становились селения, которые они проезжали. А ведь это еще не самая глушь... Сколько им там жить назначено? Год? Десять? Одичаешь... Прохор деревню совсем не помнил: его забрали оттуда после смерти обоих родителей от какой-то хвори; вся его сознательная жизнь прошла на Москве да в Горенках, и хотя он приставлен был к хозяйским лошадям, холопом себя не чувствовал: в праздник мог и погулять пойти, в сапогах и новом кушаке, и в кабаке завернуть, если душа попросит... Бывало, конечно, под горячую руку подвернешься – и по сусалам можно схлопотать, а то и выпорют на конюшне... И вот теперь он словно понял, кто он такой есть: холоп. Холопа не спрашивают, только велят, а он – делай, кланяйся да благодари. Холопу барин прикажет утопиться – топись и не рассуждай. Над государем – Божья воля, над барином – воля государева, а у холопа своей воли нет, до Бога высоко, а до царя далеко. «Вольную дал... вольную...» Что бы он делал с волей-то?... Да нешто рук у него нет, нешто убогий он? Молодой еще – даром, что бородой оброс, двадцать пять годков... Не пропал бы...

Над горизонтом простерлась темная, страшная туча; мимо обоза промчался ветер, словно спасаясь от нее. Птичий щебет умолк; издали доносилось глухое ворчание грома; иногда из рыхлого чрева тучи вырывались молнии, белыми нитями сшивая ее с землей. Решили дальше не ехать, переждать грозу здесь. И место уж больно удобное: с вершины холма открывался бескрайний вид на широко расплескавшуюся Оку с небольшим островком посередине, похожим на птичье гнездышко в ладонях. Внизу, на берегу, лепилась деревня: несколько приземистых изб, крытых серой соломой; чуть поодаль, возле рощицы, бродили по свежей травке худые коровенки.

Люди принялись ставить палатки, время от времени поглядывая в сторону грозы. Но туча пролилась дождем, посветлела и утянулась в сторону. Пронесло.

Между тем из деревни по тропинке, ведущей на холм, поднималась целая процессия: впереди шли мужики, за ними бабы, некоторые несли на руках детей. Кто-то доложил об этом Алексею Григорьевичу, и он, нахмурившись, вышел посмотреть, в чем дело.

Завидя барина, мужики поснимали шапки, а не доходя нескольких шагов, повалились в ноги. «Защита наша! Надежа!» – слышались голоса; бабы сзади завывали.

Иван с Николаем удивленно переглянулись: неожиданное зрелище их развеселило. Отец посуровел еще больше.

– Кто старший? – резко крикнул он. – Подойди!

Один из мужиков приблизился и, встав на колени, заголосил:

– Барин, оборони! Не дай пропасть ни за что, ведь живота лишат, и с малыми ребятишками!

Ему велели говорить толком, и он, наконец, рассказал, что разбойники подкинули в деревню письмо, обещая вскоре сюда навеститься, и что другую деревню, стоящую выше по реке, недавно ограбили и сожгли, жители прячутся в лесу, а кто не убежал, тех перебили. Было

предъявлено и само письмо, которое Алексей Григорьевич брезгливо повертел в руках, но так и не смог ничего разобрать в корявых каракулях. Крестьяне просили взять их под защиту, поскольку у них ружей нет, одни топоры. Долгоруков милостиво обещал остаться здесь до утра.

У Наташеньки сердце захолонуло от страха, когда она услышала про разбойников.

– Уедем! Уедем! – нудила она Ивана, и в ее широко распахнутых глазах плескался темный ужас.

– Ну что ты, ясынька моя, бояться нечего! – успокаивал он ее. – Нас много, и пороху достаточно. Не отдам я тебя разбойникам! – пытался он шутить. – Да, может, и сказки это все...

Но страх был сильнее его слов. Наташа наотрез отказалась идти спать в палатку и всю ночь просидела у костра, глядя, как льют из свинца пули, и вздрагивая при каждом шорохе. У реки выставили караулы; часовые, выждав с полчаса, окликали друг друга: «Слу-ушай! – Примеча-ай!» Только когда небо на востоке побелело, звезды поблекли и стало четко видно линию берега, а на острове загоготали гнездившиеся там дикие гуси, Наташа наконец-то вздохнула спокойно: живы! Кто-то из караульных утверждал, что слышал ночью плеск весел, но, верно, завидев костры, разбойники уstraшились и повернули назад.

Стали сниматься с лагеря; готовясь продолжить путь, проверяли, все ли налицо. И тут вдруг оказалось, что Прохора нет. Его долго кликали, звали, ходили даже в деревню – Прохор исчез.

## Глава 5

Село Семица в полтораста дворов стояло у большой дороги. Господский дом напоминал жилище оборотистого крестьянина: горница и пристроенная к ней комната соединялась сенями с черной избой, посторонь – повалуша, три людских избы, две конюшни, баня да поварня с погребом; во дворе житница и овин на гумне; за домом отхожее место. В доме разместились только родители Долгоруковы и княжны; Ивана с Натальей отправили на постой к справному мужику, который жил сам-пят в крепкой избе под тесовой крышей.

Уже настало лето, и молодой князь с княгиней предпочли для житья духовитый сенник. Ночи становились коротки, и потому Наташенька долго спала по утрам. На заре по всему селу перекликались петухи, затем начинали мычать коровы; хозяйка шла в хлев их доить, и под мерные звуки молочных струй, ударяющих в ведро, Наташа снова задремывала. По улице проходил пастух и щелкал кнутом, собирая свое стадо; в избе начинались обычные хлопоты; мужики уходили в поле, бабы – высаживать рассаду на огороде; хозяйская дочка кормила кур во дворе, сзывая их «цы-ыпа, цы-ыпа», – Наташа спала и ничего не слыхала.

Для Екатерины вся эта деревенская музыка была мýкой. Ее детство прошло в Варшаве, а юность – в Горенках, в пятнадцати верстах от Москвы. Княжеские палаты были каменные, на высоких подклетах; сени – со стеклянными фонарями. Налево – людские избы, березовая роща с псарным двором, конюшни, каретные сараи... Горниц в доме множество, были даже парадные, в которых никто не жил. В одной, с портретом Петра I маслом на холсте, в золоченой раме, били перечестье большие стенные часы и стоял орган.

Отдельную горницу отвели для царствующего государя: на стенах, покрытых китайскими обоями, были развешаны пищади, ружья, пистолеты, алебарды; на резных столах красовались черепашьи с серебром коробочки с благовонными свечами, дубовая холмогорская скриня с выдвигаемыми ящичками, китайский умывальный ларчик; вдоль стен стояли дубовый резной шкаф, круглый поставец, большие бархатные кресла с золотым галуном, а в центре – роскошная кровать под балдахином, с зеленой тафтяной занавесью, с пуховой периной, горкой подушек и камчатным одеялом...

...В октябре темнеет рано.

– На, посветишь государю в спальне. – Иван сунул Екатерине шандал. – Держи, ну!

Он придвинул свечи почти к самому ее лицу, так что выбившиеся из прически светлые волоски вокруг высокого лба закрутились колечками. Но Екатерина не отшатнулась и не протянула руки за шандалом.

– Сам посветишь, – зло сказала она. – Это твое дело – сапоги с него стаскивать!

Брат и сестра стояли в сенях у лестницы, ведущей в верхние покои. Грозно подняв руку с шандалом, словно хотел ударить, Иван надвинулся всем корпусом на Екатерину, но та храбро смотрела на него снизу вверх, выпрямившись и вскинув подбородок; ее прозрачные голубые глаза блестели холодными льдинками.

– Умаялся, батюшка наш! – послышался из-за двери трапезной слащавый голос Алексея Григорьевича: он всегда напускал на себя приторно-сладкий вид при разговоре с Петром. – Знамо дело: с утра в седле! Ну уж и знатная охота была! Какого волчищу матерого затравили, а? Вот это по-царски!

В ответ раздалось невнятное бормотание.

Иван, отступивший назад, прислушиваясь к разговору, вновь повернулся к сестре и совсем другим, деловитым голосом сказал:

– Сегодня надо дело сладить; завтра в Москву возвращаемся, там уж такой оказии не будет. Так что не зыркай глазищами-то, гляди поумильнее.

За дверью задвигали стульями, и голос Алексея Григорьевича сладко произнес:

– Вот и верно, и в постельку, и баиньки...

Иван снова протянул Екатерине шандал. Она усмехнулась:

– Может, мне ему еще колыбельную спеть?

– И споешь, и спляшешь, коли надо будет.

Иван уже не угрожал. Он был спокоен и уверен.

– П-пусти меня! Я сам пойду! – прозвучал нетвердый юношеский басок, срывающийся на высокие ноты, почти у самой двери.

По лицу Екатерины словно провели невидимой рукой, стерев с него надменное выражение. Ее расширившиеся глаза заволкло влажным страхом.

– Ваня, Ваня, я не могу! – быстро зашептала она. – Ему ведь Елена больше нравится, а я... я...

Дверь распахнулась, и на пороге появился Петр II, угодливо поддерживаемый под локоть Алексеем Григорьевичем. Ему было четырнадцать лет, но выглядел он на восемнадцать: высокий, с крепкой, хорошо развитой фигурой. Его слегка удлинненное лицо с высоким лбом, большими синими глазами под бровями вразлет, тонким носом, красиво очерченными губами и чуть раздвоенным подбородком было не лишено приятности и некой женственной прелести; его щек еще не касалась бритва, только по краям верхней губы пробивался темный пушок. Но сейчас он был пьян; белки глаз покрылись красными прожилками, взгляд остекленел, отяжелевшая голова свешивалась вниз, заставляя смотреть исподлобья.

Иван поклонился и одновременно подал шандал Екатерине. Та присела в реверансе, взяла шандал и стала медленно подниматься по лестнице, чересчур высоко подняв подол юбки, чтобы были видны ее маленькие изящные ножки, и покачивая бедрами. Петр шел сзади, стуча сапогами и тяжело сопя. Алексей Григорьевич остался внизу, знаком велел Ивану идти следом и присмотреть за этой парой.

В спальне Екатерина поставила подсвечник на столик в изголовье кровати, бросила взгляд на темную икону в тяжелом, тускло отсвечивающем золотом окладе, откинула занавесь и, наклонившись, принялась взбивать подушки. Она знала, что сейчас произойдет, но все-таки вскрикнула, когда ее сзади обхватили грубые руки и повалили на постель...

Иван какое-то время смотрел в щелку, затем удовлетворенно кивнул и осторожно прикрыл дубовую дверь. Но не ушел, остался караулить. Четверть часа спустя дверь открылась. Бледная Екатерина со сбившейся набок прической вышла, взглянула на брата, прислонилась к стене и тихо сползла по ней вниз. Иван схватил ее в охапку и отнес в ее комнату, а сам вернулся назад: нужно было в самом деле стянуть сапоги с царя, который уже храпел, лежа лицом вниз и некрасиво распялив рот. Полусонная девка раздела барышню. Облачившись в ночную сорочку, Екатерина легла в постель, свернувшись калачиком на пуховой перине, чтобы замкнуть в себе боль. Ее мутило, во рту было противно, и все это гнусно, мерзко и больно, Господи, как же больно...

## Глава 6

После литургии Дуняша забежала домой и взяла приготовленный загодя узелок с едой. Сегодня Троица, праздник, можно весь день гулять и играть с подружками. В доме пахло пирогами, травами и чистотой: вчера они с Марьей, женой старшего брата Василия, вымыли все полы, окошки, отскребли ножом стол. Небо тоже чистое, ни облачка, денек выдался погожий, и куда ни глянешь – кругом красота. Хорошо! На Дуне новый сарафан, она сама его сшила из отреза, который тятя привез ей с ярмарки; на шее крупные красные бусы – не из сушеных рябиновых ягод, а настоящие, покупные, тоже тятин подарок. Соседская Дашутка уже ждала ее на улице. Девушки окинули друг друга быстрым оценивающим взглядом. На Дашутке тоже новый сарафан и новые лапти, в косе яркая лента, а в ушах сережки кольцами.

Матушка-покойница говорила Дуне, что она родилась незадолго до Петрова дня в тот год, когда вышел царский указ, чтобы кликуш волочь на съезжую; в их селе тогда как раз объявилась кликуша, которая лаяла по-собачьи и говорила срамные слова, и ее, сказывают, били кнутом, только это было, слава тебе господи, уже после того, как матушка разрешилась от бремени, а то бы с ней, как она говорила, родимчик приключился. Стало быть, Дуне вскорости сравняется пятнадцать годков. Она еще худая и угловатая, всей красы – густая русая коса да улыбка с ямочками на щеках: глядя на нее, люди и сами улыбаются. А Дашутка годом постарше, уже в пору вошла: грудь налилась, плечи и бедра округлились, да и все при ней, глаз не оторвать – брови темные, глаза синие, лицом красавица, только ростом слегка не вышла, с Дуняшей вровень. Вот и не ее нынче подружки Тополей выбрали, хотя Дашутке это было досадно. Конечно, она об этом ни словом не обмолвилась, но Дуняше не все надобно говорить, чтобы поняла; она первая предложила подружке не ходить с девушками за Тополей по селу, а сразу после службы побежать взглянуть на свои березки, что они давеча завивали.

Взявшись за руки, они одним духом сбежали по кособору и взобрались на холмик, где была березовая рощица, обняли каждая по деревцу и засмеялись без причины. Хорошо-то как! Свои березки они отыскали быстро: Дуняшина развилась, а на Дашуткиной веночек из веточек и лент был целехонек. Дашутка довольно кивнула каким-то своим мыслям и расплела березку, чтобы та не обиделась. Девушки развязали свои узелки, уселись на платки, чтобы не зазеленить сарафаны, и стали угощаться пирогами с яйцом, запивая их квасом.

– Ну что, кума, покумимся? – спросила Дашутка.

Они встали между своими березками, взялись за руки, серьезно произнесли в один голос: «Нам с тобою не браниться, вечно дружить», поцеловались – и снова засмеялись.

Где-то высоко и чуть вдалеке послышался печальный зов кукушки.

– Кукушка-кукушка, долго ли мне еще в доме у батюшки куковать? – громко крикнула Дашутка и запрокинула голову, шурясь из-под ладони.

Они подождали, затаив дыхание, но кукушка не отозвалась. Дашутка снова чуть наклонила голову, словно получив ответ, которого ждала. Девушки походили по рощице, нарвали трав и веток и уселись плести веночек. Плели и пели на два голоса: Дашутка тянула основную нить, а Дуняша выводила по ней тоненькие узоры.

Из села уже шли девушки и парни – наособицу, но переговариваясь, перешучиваясь. Начались хороводы, игры – в воробышка, в зайнуку; глядишь, кое-где и парочки сложились, прячась за деревьями, да разве в березовой роще спрячешься... Девушки выбрали березку покудрявее, увили ее лентами, парни ее срубили, и все с песнями отправились к речке, змеившейся под холмом.

Где-то здесь вскоре после Пасхи чуть не утонул молодой барин, которого спас барский конюх. Дуняша тогда рассказывала об этом Дашутке, но сегодня эта история казалась такой далекой, будто много лет прошло, а не недель. Дуняша всегда подходила к реке с опаской:



наслушалась рассказов про водяных и русалок, а уж нынче и вовсе русалочий день. Берега крутые, вода зеленая, бежит быстро, заглянешь в нее – и голова закружится: ух! Одна бы ни за что не пошла, но сейчас с ней подружки, и всем весело. Парни бросили березку в воду, и все смотрели, как она поплыла: будет ли год урожайным? А потом девушки прогнали парней прочь, велев ждать их за рощей. Нечего им тут подглядывать.

Дашутка и Дуня прошли немного вперед по течению, где речка становилась чуть шире. Они немного постояли, глядя на воду; мимо проплыл уже чей-то веноч. Дашутка подошла к самому краю и бросила веноч на середину; он качнулся и поплыл. Дуняша бросила свой почти одновременно, он шлепнулся в воду ближе к берегу, покружился, а потом зацепился за куст, нависший над рекой. Девушки постояли, подождали.

– Может, куст потрясти? – предложила Дашутка.

– Ой, что ты! – испугалась Дуняша.

– Ну, не потонул – и ладно! – разрешила все сомнения Дашутка, и вновь стало весело и хорошо.

На лужку за рощей играли в горелки. Когда Дуня с Дашуткой вышли туда от реки, пары уже встали и готовились начинать закличку.

– Бежим! – Дашутка дернула Дуню за руку, они припустили и успели встать последними.

«Горящим» был Егорка с их улицы, из крайней избы, – двадцатилетний верзила, озорник и балагур, которому палец в рот не клади; Дуняша его слегка робела, потому что не умела отвечать на его шутки, только краснела.

– Гори-гори ясно, чтобы не погасло, глянь на небо – птички летят, колокольчики звенят!

Дуняша почувствовала, как вспотела Дашуткина ладошка в ее руке.

– Раз-два, не воронь! Беги, как огонь!

Они разомкнули руки и понеслись вдоль вереницы вперед. Егорка изготовился их ловить; Дуняша метнулась от него в сторону, а Дашутка сплеховала, и вот они уже встали первой парой, а Дуняше теперь «гореть».

– Глянь на небо – звезды горят, журавли кричат: гу-гу, убегу!

Толстую неуклюжую Варвару, поповскую дочку, Дуняша поймала без труда, и они встали в пару перед Дашуткой с Егоркой. Дуне хотелось обернуться и посмотреть на Дашутку, но что-то ее от этого удерживало. В глубине души ей было слегка досадно: чего это Дашка вдруг стала такая неповоротливая, раньше они ото всех убегали и никто их пару разбить не мог. Но чутье девичье подсказывало, что неспроста это. И тихо так сзади, будто не Егорка там, привыкший зубы скалить, и не Дашутка, которая своим острым язычком любого охальника как бритвой срежет, а двое немых. И в то же время от их молчания за спиной у Дуняши ни с того ни с сего запунцовели щеки.

– Дуняша! Дуня-ш-а-а-а! – послышался звонкий детский голосок.

По кособоку, быстро перебирая босыми ножками, бежала Дуняшина сестренка Параша; руки в стороны раскинуты, платочек с головы сбился. Дуня выпустила Варварину руку и поспешила туда: что еще стряслось?

– Дуняша, подь, чего скажу!

У Парашы ясные голубые глазенки сияют, как самоцветы, длинные загнутые ресницы распахнуты, сердчишко бьется так, будто сейчас выпрыгнет из груди. Она поманила Дуню рукой, чтобы наклонилась поближе, и страшным шепотом выдохнула ей прямо в ухо:

– Сваты приехали!

– Кто?

– Сваты! Два дядьки зашли в избу и говорят тятю, что они купцы, приехали за товаром, а тятя велел нам со Степкой на двор идти, а Марья сказала, что это сваты приехали, не иначе за Дуняшей.

Выпалив все это, Параша в страхе уставилась на сестру, прикрыв щербатый ротик ладошкой.

Дуняша распрямилась, глядя прямо перед собой, и тут сказанное дошло до нее, ноги вдруг ослабели, и она села прямо на траву, забыв про новый сарафан. Вот, значит, почему тятя, когда с ярмарки вернулся и отдал ей подарки, сказал, что пора уже приданое готовить, заневестились девка! А она-то думала, что он с ней шутит...

– Стряслось чего? – раздался сзади встревоженный голос Дашутки.

– За Дуняшей сваты приехали, – всхлипнула Параша, готовясь заплакать.

Дуня тоже смотрела на подругу такими глазами, будто ее сейчас кинут в реку вслед за венком.

– Ой, как же ты растрепалась-то! – Дашутка поправила Параше платочек и одернула подол. – Пойдем-ка домой, узнаем все толком!

И добавила, обернувшись к Дуне:

– Жди меня возле наших березок.

Дуняша смотрела, как они взбираются по откосу, держась за руки, и в душе ее всколыхнулось теплое чувство к Дашутке: вот ведь, не бросила, пришла, хотя ей бы сейчас играть в горелки со своим Егоркой! Но тотчас нахлынули совсем другие мысли – о ней самой, и пока она шла к рожице, от гаданий о том, кто бы мог заслать к ней сватов, ажно голова разболелась, и Дуня изнывала в ожидании Дашутки – что ж она так долго! Как только знакомая фигурка показалась на вершине холма, она не утерпела и бросилась навстречу.

Дашутка запыхалась (всю дорогу бежала), но выложила все сразу, не отдохнув: и впрямь сваты, два мужика незнакомых с рушниками через плечо, она их никогда не видала, знать, не из нашего села; как они с Парашей к тыну подходили, они как раз вывели со двора свою кобылу, сели на телегу да поехали.

– Может, тятенька им отказал? – с робкой надеждой прошептала Дуня.

– Не похоже: веселые были; дядя Мирон их провожать вышел, он и Парашу принял у меня. Я сказала, что мы Майское дерево ходили смотреть, а мне кое-что из дома взять нужно.

Дуняша понурила голову и стояла, глядя на свои лапти. На лугу теперь играли в лапту; Егорка наяривал на балалайке песню про стоявшую во поле березу, которую некому заломати; парни заигрывали с девушками. Солнце, потихоньку спускавшееся к горизонту, спряталось за облачко, на луг и рощу легла тень, березки всполошенно зашелестели листвой. Дашутка нетерпеливо глянула в сторону луга, потом на подругу – и поняла, почему так говорят: стоит, как просватанная. Точно пелена с глаз спала: ничего этого – хороводов, горелок, троицких песен, венков – для Дуни больше не будет! Расплетут косу, обведут вокруг алтаря, увезут в другую деревню – и все, поминай, как звали! И как-то еще там жизнь сложится, какой муж попадется – злой али нет, да какая свекровь? Гаданья на суженого, венки на березе – какая это все чепуха!.. Дашутка тронула Дуню за плечо:

– Говорят, если на Троицу сосватают, к счастью, – неуверенно сказала она.

Дуняша закрыла лицо руками и заплакала.

## Глава 7

Алексей Григорьевич сделался набожен, чем радовал Прасковью Юрьевну. По воскресеньям всей семьей ходили к обедне, и старший Долгоруков занимал в церкви почетное место. На Троицу служба была особо торжественной. Запах воска и ладана смешивался с ароматом свежескошенной травы, устилавшей пол, и горьковатым духом березовых веток, которыми украсили иконы. Грудь распирало от ожидания чего-то радостного и светлого, но, когда все встали на колени и священник принялся читать молитвы о спасении всех молящихся и об упокоении душ усопших, в рай вознесшихся и во аде держимых, из глаз сами собой брызнули слезы. У каждого было о ком вспомнить и о ком помолиться...

Дни стояли теплые, Наташа маялась в своем черном платье и корила себя, что не взяла никакой одежды. Мадам где-то раздобыла полотна и другой материи, договорилась с девушками и к празднику справила княгинюшке «приданое», как она говорила в шутку: две батистовые сорочки, холщовую исподнюю юбку, два канифасовых сарафана и душегрею. Родители Долгоруковы тоже облачились в русское платье, Наташины золовки Елена и Анна ходили в сарафанах, и только Екатерина по-прежнему носила платья немецкого покроя, затягиваясь в корсет. Дома ей было тошно; каждый день, пока еще не жарко, она велела заложить коляску и уезжала подальше за околицу, взяв с собой только горничную и верного слугу Теодора, вывезенного из Варшавы. Выбрав какое-нибудь тихое место, она подолгу оставалась там, предаваясь своим мыслям, а потом нехотя возвращалась в дом к обеду. После обеда, когда все, по русскому обычаю, ложились спать и в доме слышался только храп, сопение и жужжание вездесущих мух, садившихся спящим на лицо и не желавшим попадаться в расставленные для них стеклянные ловушки с узким горлышком, Екатерина садилась к окну и невидящим взглядом смотрела на уходящую вдаль дорогу, словно ей там являлись совсем иные картины, или раскрывала французский роман, но страница оставалась неперевернутой.

На Петра-солнцеворота солнце повернуло на зиму, а лето – на жару. Скотину на пастбище начали донимать оводы. На опушке леса млела на солнце духовитая земляника; крестьянские девочки собирали ее в туюски; потом пошла черника, костяника и голубика.

Смолкли соловьи; под вечер в озимях тюкали перепела, в болоте кричал дергач; громко раздавалась лягушачья музыка, тоненько зудели комары.

Охотиться с собаками больше было нельзя, чтобы не вытоптать хлеб. Мужчины уезжали на зорьку стрелять диких уток, а с началом Петрова поста Иван пристрастился к рыбалке. Днем он иногда уезжал с братьями верхом: учил Алексея и Александра кавалерийским приемам, мчался с Николаем наперегонки. Наташа писала письма братьям – Петру и своему любимцу Сергею – и сестрам Вере и Екатерине, подробно расспрашивая об их жизни, до самых мелочей, и прося не забывать ее и сообщать обо всех новостях: ей тут самых пустяшных известий хватит, чтобы думать о них весь день. Восемнадцатилетний Петр Шереметев состоял при дворе и был в милости у императрицы Анны Иоанновны. Ивана Долгорукова он не любил: тот когда-то оттер его, заняв место фаворита при юном Петре II, хотя Шереметев воспитывался вместе с государем. Он был против брака своей сестры (однако не препятствовал помолвке) и не присутствовал на свадьбе. Наташа больше сокрушалась из-за того, что ей не довелось проститься перед отъездом с пятнадцатилетним Сергеем (он был болен оспой, и ее к нему не пустили). Как-то он теперь?...

Она потихоньку сблизилась с младшими золовками, которые в деревне держали себя уже не так надменно, как в городе. Раздобыв у местного богомаза красок, Наташа учила их рисовать луговые цветы, которые приносили им девушки, ходившие за ягодами: васильки, кукушкин цвет, ромашку-поповник, колокольчики, хрупкий, доверчиво распахнувшийся синие

«глаза» журавельник с липким стеблем... Или Прасковья Юрьевна усаживала всех за вышивание, чтобы не шалберили без дела.

Петров пост недолог, но в народе его зовут голодовкой: овощи и грибы еще не поспели, хлеб на исходе. На стол всякий день подавали тертый горох, пироги с зеленым луком, гречневую кашу да сочиво, карасей, пойманных в местной речушке, овсяный кисель с медовой сытой. Наташеньке постоянно хотелось есть; у нее возникли подозрения насчет того, что она непраздна: жаркие ночи на сеннике не пропали даром, но она не смела ни с кем поделиться, почему-то стыдилась...

Обедали всей семьей в повалуше при господском доме, окна которой выходили на большую дорогу. Место ровное, как на ладони, видно далеко. В тот день только встали из-за стола, как на дороге показалось облако пыли, из которой вскоре вынырнули шесть телег, запряженных парами. На телегах сидели солдаты – по четыре на каждой, сзади ехал в коляске офицер.

Мужчины бросились к окошкам, женщины пытались что-то разглядеть из-за их спин.

– Ахти, Господи, никак опять беда какая приключилась! – всплеснула руками Прасковья Юрьевна и перекрестилась.

– Не каркай, дура! – рявкнул на нее Алексей Григорьевич.

Люди уже открывали ворота; капрал отдавал приказы солдатам, спрыгивавшим с телег; офицер выбрался из коляски и направился к крыльцу. Алексей Григорьевич пошел ему навстречу; Иван и Николай следом за ним. Немного поколебавшись, Прасковья Юрьевна тоже хотела идти – и вскрикнула, увидав входящих в двери солдат с ружьями, к которым были прижаты штыки. Капрал велел ей и Екатерине следовать за ним, а остальные остались под караулом.

Наташа смотрела на солдат, ни жива ни мертва от страха; девочки тихонько плакали, Алексей вцепился в брата, который насупил брови и чуть подался вперед, словно готовясь к драке. Но солдаты стояли молча, как истуканы.

На дворе поднялась суматоха, девки и бабы бегали туда-сюда, слышались причитания, плач и суровые окрики, сержант с двумя солдатами прошли в сторону конюшни. Дети прильнули к окнам. Наташа смотрела, не отрываясь, на телеги: не поведут ли к ним Ивана; она решила для себя, что, если поведут, она непременно бросится за ним, пусть хоть заколют ее штыками, все одно ей без Ванечки не жить!

Скрипнула дверь – все вздрогнули и обернулись. Вошел офицер, постоял у дверей, потом шагнул к столу, сел на лавку.

На него смотрели пять юных лиц – со страхом, интересом, враждебностью. Он задержался взглядом на старшей, съездившейся у окошка, – дочери покойного Бориса Петровича Шереметева. Эка, девонька, тебя угораздило! А ведь знала, когда замуж шла, что жениху твоему теперь хорошо бы голову на плечах удержать, а не то что при дворе остаться да гвардейским полком командовать! Вернула бы кольцо, поворотила бы оглобли назад – никто бы слова в укор не сказал: сговор не венец. И женихи бы вмиг другие набежали – братец-то у новой императрицы в большой чести... Эх, да что там – сделанного не воротишь...

Наташа тоже смотрела на капитан-поручика. Ей стало казаться, что его лицо ей смутно знакомо. Зачем он здесь? Что с ними еще сделают? В глазах ее застыл немой вопрос, но заговорить, обратиться к нему она не смела. Офицер вздохнул, поднялся и вышел.

Капитан-поручик Макшеев явился с новым приказом от Сената: все вотчины и движимое имущество Долгоруковых подлежат конфискации, самих их ссылают еще дальше.

Это все Остерман, решил Алексей Григорьевич, вот ведь хитрая лиса! Змей подкольный! Гольтьба немецкая, из толмачей пролез в советники Посольской канцелярии, а затем благодетеля своего Шафирова и утопил. Меншикову, который его сделал вице-канцлером и ввел в Верховный тайный совет, уж как низко кланялся и руку целовал, а потом упек его в Березов. И ведь Шафирова свалил, пресмыкаясь перед Меншиковым, а Меншикову подсуоро-

пил, настроив против него царя-отрока, к которому сам же Александр Данилович его в воспитатели определил. Чуть замутится что – он больной лежит, прямо при смерти, а как прояснеет – и он тут как тут, здоровехонек, и уж увивается, за кем надо. Но умен, стервец! От воспитанника своего графский титул не принял – недостойн, мол; от прусского короля бывшее меншиковское поместье не взял, а теперь, при новой государыне, он уж и граф, и лифляндский помещик! Не иначе как Андрей Иванович теперь ей про Долгоруковых в уши дует, чтоб от их имени свой кусок отхватить, да пожирнее!

Иван же думал на Ягужинского, их давнего врага, к тому же затаившего на него зло за то, что не женился на его дочери. А может, и Никитка Трубецкой как-то подгадил; не зря же после восшествия Анны Иоанновны на престол сразу скакнул из камер-юнкеров в майоры гвардии, на его, Ивана, место, а затем генерал-кригскомиссаром стал. А зуб у Никитки на Ивана большой...

Прасковья Юрьевна, плача, гоняла туда-сюда дворовых, чтобы собрать вещи в дорогу, а ее муж сел писать письмо управляющему в Москву, прося выслать ему денег с первой же оказией, а всем, кому он задолжал, отдать долги. «Людей, которые возвращены к вам в Москву, дворовых разошлите в деревни и определите оных к делам, и велите им давать жалованье и хлеб, а также определите к делам в Москве или к деревням, которые годятся; девкам, которые приедут, до замужества оных содержите и давайте хлебное и денежное жалованье; лошадей, которые к вам возвратятся, мои и князь Ивановы, велите распродать или по деревням разослать, а паче, как усмотрите сами лучше, то, кто из жеребцов, отберите лучших, сколько надобно и припускать, чтобы припуска были». За окном громко прокричал что-то капрал, отдавая команду. Алексей Григорьевич бросил перо, обхватил голову руками. Какие жеребцы, какие припуска? Кто теперь на тех конях охотиться станет? О другом нынче думать надобно. Снова обмакнул перо в чернила: «Когда на вексель в Tobольск переведешь ко мне деньги и вексель пошлешь, тогда и к вице-губернатору Ивану Васильевичу Болтину отпиши, чтоб он пожаловал, по прибытии моем в Tobольск, о том векселе мне сказал; и впредь, когда станете переводить ко мне деньги чрез вексель, пишите к нему ж, вице-губернатору, чтоб он пожаловал, по тем векселям отдавал».

...Солнце палило нещадно, в комнате было невозможно дышать. Мальчикам наскучило смотреть в окошко, Александра разморило, и он задремал, сидя на лавке. Девочки подошли к Наташе, и Анна, стесняясь, шепнула ей на ушко, что ей надо по нужде. Наташа испуганно вскинула глаза на солдат. Они тоже изнемогали от духоты в своих суконных мундирах, их лица были красны, под мышками расплзлись темные пятна пота, однако вид имели по-прежнему грозный. Подойти к ним, попроситься выйти и назвать причину? Лучше сквозь землю провалиться!

– Потерпи, Аннушка! – шепнула Наташа. – Чай, недолго уж осталось.

Она сама истомилась. Шея была мокрая от пота, все тело казалось липким, во рту стоял какой-то свинцовый привкус, а язык распух и плохо ворочался. Сколько ж, в самом деле, им тут сидеть?...

Забренчала сабля по ступенькам крыльца, двери раскрылись, и вошли – о радость! – Иван и Макшеев с четырьмя солдатами. Солдаты увели куда-то младших Долгоруковых, а Иван подошел к Наташе:

– Ехать велят нам дальше, ясынька моя, уж и кареты закладывают.

– Ехать?... А собратся ж надо?

Наташа смотрела на мужа во все глаза, пытаясь понять по его виду, насколько велика новая беда.

Иван сказал несколько слов офицеру, тот кивнул и сделал знак одному из караульных.

Солдат шел сзади, держа наперевес ружье с примкнутым штыком, словно вел Ивана с Наташей под конвоем. По пути к их сеннику она мучилась от невозможности задать мужу

хоть один из одолевавшего ее сонмища вопросов: куда ехать? надолго ли? что с ними всеми станет? Не разлучат ли их? Но в присутствии солдата она заговорить не могла.

Все их нехитрые пожитки уместились в два узла: один тащила Наташина девка, другой нес Иванов слуга. Когда они проходили мимо избы, из сеней вдруг выскочила хозяйка (видать, дожидалась у двери, подглядывая в щелку) и, боязливо взглядывая на солдата и заискивающе ему улыбаясь, показала небольшой узелок:

– А пирожков-то на дорогу? Постные, с кашей. А то как же?...

Наташа, памятуя прошлые сборы, не стала ни от чего отказываться, взяла у нее узелок и сказала: «Благодарствую». Баба поясno поклонилась, а потом, когда они повернулись к ней спиной, украдкой перекрестила обоих.

Скарб сложили на телеги, на них же сели люди, которым позволили сопровождать господ. Сами господа расселись по каретам; мадам поместилась с Наташей и Иваном. Было еще светло, когда вереница карет выехала на большую дорогу, подняв облако пыли. Только тогда Наташа, наконец, выложила все свои вопросы, ухватив Ивана за руку и заглядывая ему в глаза, которые тот отводил. Помявшись, он рассказал: офицеру было приказано не говорить им, куда лежит их путь, но Алексей Григорьевич таки вызнал у него кое-что. Везут их на остров, который лежит отсюда за четыре тысячи верст; сколько жить им там назначено – пока неизвестно; разлучать не будут, но только всю бумагу, чернила и перья отберут, чтобы никакой корреспонденции не вели и о себе никому вестей не подавали. При этих словах у Наташи потемнело в глазах, и больше она ничего не слыхала.

Очнулась она от резкого запаха: мадам держала у нее под носом флакон с солями, а Иван дул ей в лицо.

– Очнулась! Слава тебе господи! И кто меня только за язык тянул!

Наташа обвела взглядом полутемную карету, краешек presumеречного неба за окошком – и все вспомнила. Из груди ее исторгся вопль, она забилась, сотрясаясь от рыданий, и завывала, словно по покойнику. А кому еще было оплакать ее, горемычную? Это ведь ее сейчас хоронили заживо, пропала она для всего света и для братьев и сестер своих сгинула, будто и нет ее вовсе!

## Глава 8

Прохор, Столоп и Кувай остались ждать у околицы, а Тимошка Хлап пошел в село один. Хлап был ловок и везуч; куда хочешь без оглобель въедет и вывернется ужом. Люди ему почему-то верили – себе на беду. С Прохором же у них сразу установилась молчаливая взаимная неприязнь, которую чувствовали оба, несмотря на неперечливість Прохора и зубоскальство Хлапа. Тимошка был пригож лицом, улыбчив и расторопен, но Прохора коробило от его взгляда. Именно про таких говорят: «Глаза твои бесстыжие»; видно было, что Тимошка, если надо, мать свою продаст, а совести у него отродясь не было.

В ту ночь, когда люди Долгоруковых готовились отражать нападение разбойников, Прохор принял решение. В темноте спустился к реке, сложил одежду в пустой бочонок и, держась за него, поплыл на тот берег. Вода была студеной, аж дух захватывало; не чаял живым добраться, весь заоченел. Стуча зубами и коротко всхлипывая, он вслепую натянул на себя рубаху, порты и армяк, стал прыгать, хлопая себя руками, и кое-как согрелся. На том берегу горели костры, здесь же была непроглядная мгла – и никого. Дождавшись, когда глаза немного привыкнут к темноте, Прохор потихоньку пошел вперед, удаляясь от реки.

– А ну стой! – окликнули его. Прохор вздрогнул от неожиданности. – Кто таков?

– А ты кто таков, что я тебе должен сказываться? – сиплым голосом ответил он.

На него вдруг напрыгнули сзади двое, скрутили ему руки, связали и повели, пихая в спину и сквернословя. Путь показался Прохору долгим, и когда они, наконец, дошли до какой-то деревни, он совсем изнемог. Его впихнули в крайнюю избу, и он зажмурился от яркого света: во всех углах горели свечи, отражаясь в стеклянных штофах и начищенной медной посуде, стоявшей на столе. За столом сидели богато одетые люди и играли в карты.

– Вот, пошли по грибы, а нашли лукошко, – сказал тот, что привел Прохора, и вышел на свет. Это и был Хлап.

Один из сидевших за столом оказался атаманом по имени Федор Зима. У него были волосы до плеч, усы, но бритый подбородок, и он курил короткую глиняную трубку. Пристально взглянув на Прохора, он велел его развязать, а потом приказал отвечать без утайки, кто он, куда идет и зачем. Прохор сказал, что он беглый дворовый человек князя Долгорукова, ищет вольной жизни и, ежели его примут, готов остаться с ними.

– Долгорукова, говоришь? – прищурился Хлап. – А не он ли за рекой стоит?

– Он самый.

Хлап с атаманом переглянулись.

– А ну сказывай, сколько с ним людей да казны.

Прохор ждал этого вопроса. Собственно, он даже рассчитывал, в оправдание своего побега, отвести беду от бывшего господина, чтобы и тот стал ему чем-то обязан. Старательно мешая правду с ложью, он рассказал, что князь Алексей Григорыч едет с четырьмя сыновьями, женой и тремя дочерьми, при каждом по несколько людей, вот и считай. А кроме того, поскольку он у новой государыни в немилости, приставлен к нему караульный отряд ружей в двадцать и с офицером. Велено ему ехать в дальние деревни, с собой взять разрешили только самое необходимое – чтоб наготу прикрыть да в пути прокормиться, так что взять с них нечего, все одно что свинью стричь – визгу много, а шерсти мало.

– Сказку плетешь аль правду говоришь? – нахмурился атаман. – Меня, слышь, на кривой не объедешь!

– Вот те крест, – побожился Прохор, стараясь глядеть прямо.

– Это, значит, барина твоего послали проведать Александра Данилыча, куда он его сам спровадил? – подал голос один из сидевших за столом позади атамана. – Вырыл приятелю яму, да сам в нее и угодил!

За столом с готовностью рассмеялись. Прохор опустил голову и пробурчал:

– Оно конечно... Бог не Тимошка, видит немножко...

Эти его слова были встречены взрывом хохота, причины которого он тогда не понял. Зато развеселившиеся разбойники, казалось, были готовы ему поверить. Хлап посмотрел на него зло, однако тотчас оскалился и крикнул:

– Ну, что стоишь! Поднеси обществу по чарочке, али закона не знаешь?

Прохору хотелось ответить, что он их воровских законов не знает и знать не желает, однако он, понятное дело, смолчал: попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй. Он достал из-за пазухи кожаную кису, в которой было несколько медяков, и положил на стол:

– Вот, не взыщите. Больше нету ничего.

Разбойники зашумели, явился штоф, а киса куда-то сама собой исчезла со стола. Все выпили за нового товарища и ему поднесли.

– Пей-ка – на дне копейка, выпьешь на пять алтын – свалишься под тын! – балагурил Хлап.

Прохор выпил и осовел. Сел на лавку, привалился спиной к стене и закрыл глаза...

Наутро его отвели в другую избу, где жило человек пять разбойников. В первое время Прохор приглядывался, молчал да слушал. В шайке было с полсотни человек – беглые крестьяне, солдаты, бурлаки. С атаманом Зимой многие ходили уже лет пять, иные шесть, а кто и восемь. О будущем старались не думать; нынче живы – ну и ладно, а завтра – как Бог даст. Прохор не привык к праздности, и ему было не понять, как можно целыми днями ничего не делать. Но разбойники, отдыхавшие в деревне после удачного набега, только ели, пили, спали да играли в карты и зернь. Тогда Прохор и узнал, что пленившего его парня зовут Тимошка, а прозвищем Хлап (Валет), потому как в карты с ним играть не садись – обдерет как липку.

Денег у Прохора больше не было (а разбойники платили за харчи крестьянам, и те были рады-радешеньки). Один из его новых соседей, Митька Жаров, предложил ссудить ему рубль под будущую добычу.

– Вот, – сказал он, острогав небольшую палочку. – Я тебе даю столько гривен (он сделал десять зарубок), а ты мне вернешь, стало быть, столько (добавил еще одну).

Прохор хмыкнул:

– А ты сам не из жидов ли будешь?

– Не хочешь – не бери. – Митька пожал плечами – точь-в-точь как Хлап.

Прохор вообще заметил, что Митька Хлапа боготворит и всячески пытается ему подражать. О Тимошкиных подвигах он мог рассказывать часами, и глаза у него тогда светились детским восторгом. Хлап был известный вор на Москве (потому и бежал и пристал к разбойникам). Прежде был он дворовым человеком одного купца из Китай-города; таскал у него сначала кое-что по мелочи – посуду, кур, старую одежду – и продавал; хозяин его за то, понятно, наказывал. Тогда Тимошка ночью выкрал у него сундук с казной прямо из спальни и задал лытуна. Но два дня спустя его на Красной площади углядели дворовые его господина, скрутили и привели обратно. Вертеться бы Тимошке вниз пупом под плетями, но он закричал: «Слово и дело!» Пришлось везти его в село Преображенское, в Тайный приказ, а он дорогой исхитрился бежать. И уж тут-то дал себе волю. Кого он только не грабил – и купцов, и мастеровых, и помещиков! И ведь хитер – наплетет с три короба, так что сторожа сами ему двери откроют, а он им нож к горлу приставит: отдавай, мол, добро, если жизнь дорога!

– Хлапу человека порешить – что курицу зарезать, – хвастался Митька. – В Лафертове придворный лекарь-немчин хотел было тревогу поднять, так он и его ножом пырнул, и жену его, а потом столько добра взял, что насилу унесешь!

– Ну и брешет твой Тимошка! – не выдержал Прохор. – Барин мой жил в самом Лафертовском дворце, с государем Петром Алексеичем. Лекаря, точно, ограбили, только никто его



живота не лишал. Ночью, когда все спали, влезли через окошко да вынесли посуду и кой-какое барахлишко.

Митька насупился и замолчал. Об этом разговоре он, видно, донес Хлапу, потому что тот стал смотреть на Прохора с еще большей неприязнью. А огневщик Тихон предупредил, что теперь Хлап непременно захочет повязать Прохора кровью, чтобы тому потом не отвертеться. Душа у Тимошки черная, он запросто сможет пристроить любого в немшоную баню, где людей вешают, кто сколько потянет.

И все-таки Прохор сам вызвался идти на разведку, ошалев от безделья. А еще он хотел показать Хлапу, что не боится его.

Пока Тимошки не было, Прохор с Куваем сходили к пристани посмотреть, удобно ли там причалить, а Столоп оставался у околицы – наверное, дрых. Хлап вернулся часа через два – веселый и будто выпивши. Мужиков в селе нет, только древние деды да ребяшня, – все на сенокосе. Управляющий уехал в Касимов. Кабатчик сказывал, будто из городского гарнизона обещали отрядить команду, чтобы изловить разбойников, да только нет о ней ни слуху ни духу.

Обратно шли берегом Оки. Тимошка рассказывал байки из своей прошлой жизни, и за разговорами они миновали то место, где надо было выбираться на дорогу. Вышли у какой-то незнакомой развилки, заспорили, куда теперь. Хлап и его приятели кричали и махали руками, не слушая друг друга, Прохор молчал. Прохор и увидел того мужика, который ехал на возу сена.

– Эй, дядя! – закричал ему издали Хлап. – Которая дорога на Рождествено? Сюда, что ль?

– Тоже мне, племянш нашелся! – огрызнулся мужик. – Ступай на все четыре стороны!

Хлап встал, расставив ноги и засунув большие пальцы рук за пояс, сузил глаза и нехорошо посмотрел на грубияна.

– Что ж ты ругаешься, дядя? Я ведь, кажись, не обидел тебя ничем?

– А поди ты к бесу на поветь! – Мужик встряхнул вожжами, погоняя свою лошадь.

То, что было дальше, произошло так быстро, что Прохор и глазом моргнуть не успел. Трое его спутников разом бросились к возу, стянули с него за ноги мужика, привязали вожжами к оглобле, после чего Столоп высек кресалом огонь и запалил сено. Испуганная лошадь помчалась со всех ног, не разбирая дороги; бедный мужик был вынужден бежать рядом, да разве угонишься – споткнулся и волочился по земле. Разбойники помирали со смеху, глядя, как он вскидывает ногами. Наконец у телеги оторвалась передняя ось, и воз остался догорать в поле, а лошадь с незадачливым хозяином вскоре скрылась из глаз.

Разбойники пошли дальше (другой дорогой), утирая выступившие от смеха слезы, а у Прохора было так гадко на душе, что аж мутило.

– Чтой-то ты смурной? – спросил его Хлап голосом, в котором звучала угроза.

– Сена сколько пожгли. Жалко, – буркнул Прохор.

– Да-а, не нашего ты сукна епанча, – протянул Тимошка.

– Каков есть.

Они остановились. Прохор встал так, чтобы видеть всех троих и не дать кому-нибудь подкатиться ему сзади под ноги. Он был опытным кулачным бойцом и в честной драке сумел бы за себя постоять. Хлап, похоже, это понял.

– Завтра посмотрим, кровь в тебе ходит или сыворотка, – процедил он сквозь зубы.

...Трех человек оставили стеречь лодки, а сами, направляемые Хлапом, повалили гурьбой в село. На площади у церкви разделились: несколько разбойников пошли пошарить по справным избам, примеченным Тимошкой, сам он с небольшим отрядом направился в кабак (Хлапу доставляло особую радость грабить людей, с которыми он накануне вел душевную беседу), основные же силы атаман повел в дом приказчика. Прохор был с ними.

Выстрел в воздух, истошный женский крик, топот ног по двору, скрип разошедшихся досок, грохот в подклете и дребезг разбиваемых горшков, снова крик, оборвавшийся глухим

стуком, звон высаженной окончины, порсячий визг где-то на заднем дворе... Прохор ныряет с залитого солнцем двора в темные сени, спотыкается о какой-то куль, лежащий на полу, – нет, не куль, баба. Сомлела? Или убили? Окрик атамана, его сапоги поднимаются по лестнице, и Прохор спешит следом, выходит в горницу, бросает взгляд в красный угол, мысленно шепчет «Господи, прости», а атаман уже стоит у кованого сундука с хитрым замком – ну-ка... Прохор достает из-за пояса топор, пытается обухом сбить замок – не получается, тогда он начинает рубить топором крышку. Дерево крепкое, видно, мореный дуб, да еще схваченное железными полосами. Хрясь, хрясь... вот уже в щель можно просунуть руку... Книги? Ободрав тыльную сторону ладони о зазубренную щель, Прохор достает одну и подает атаману. Тот раскрывает, перелистывает несколько страниц, удовлетворенно кивает и указывает на шкафчик возле стола. У шкафа тонкие дверцы, но Прохор рубит его в щепы; на пол сыплются свитки бумаги и сероватые плотные листы, сложенные и потертые на сгибах; откуда-то вываливается бутыл с чернилами, и по полу растекается темное пятно. Атаман приказывает все это собрать, вынести на двор и там сжечь.

Прохор с Тихоном бросают свитки в огонь, и бумага тотчас чернеет и обращается в темно-серый пепел с кляксами сургуча. Зато книги в кожаных переплетах гореть не хотят, только тлеют, издавая едкую вонь. Прохор вырывает из них страницы, исписанные от руки, и бросает в костер. Он неграмотный, но понял, что книги эти не духовные: те выглядят иначе, буквы покрывают всю страницу сплошняком, а здесь колонками, неровно и внизу – приложение руки, – видать, крепостные грамоты, податные списки или долговые расписки.

К костру двое волокут упирающегося мужика, у которого левый глаз уже заплыл, на правой скуле свежая ссадина, а из распухшего носа сочится кровь.

– Ой, не знаю, ничего я не знаю! – скулит он.

– Ничего, сейчас пятки тебе поджарим, разом припомнишь, – весело говорит один из разбойников.

Прохор разгибается и стискивает кулаки; Тихон предостерегающе кладет руку ему на плечо, но тот ее сбрасывает. Тогда Тихон обхватывает его сзади и толкает к крыльцу:

– Идем-ко, подмогнуть надоть...

В руки Прохору суют тяжелый звякающий мешок – наверно, с посудой; он оглядывается, услышав дикий вой мужика, которого суют ногами в костер: «А-а-а-а! У-у-у-у!»; но в это время на крыльцо выходит атаман и коротко свистит в два пальца. Крик прекращается и переходит во всхлипывания; вокруг дома бегают хлопцы с охалками соломы, и когда Прохор вслед за другими выходит со своей ношей на улицу, сзади уже слышится бодрое потрескивание огня и тянет густым дымом.

Добычу складывали в лодки. В доме приказчика денег не нашли, взяли только посуду, одежду поважнее, старую пищаль да конскую упряжь почти новую – можно будет продать. Зато Хлап отличился: его молодцы приволокли из кабака сундучище, набитый деньгами. Правда, самого его почему-то не было. Когда Федор Зима уже начал терять терпение, крича, что если этот курвин сын Тимошка сей же час не явится, пусть потом вплавь догоняет, на пригорке у спуска к пристани появились Хлап и Митька Жаров, толкая впереди себя перепуганного попа в полном церковном облачении. Атаман присвистнул, прыгнул на берег и пошел им навстречу.

– Чада мои... чада... – повторяет поп, и борода его трясется, а руки дрожат.

Тимошка, напустив на себя смиренный вид, но мигнув атаману, объясняет, что батюшка по доброте своей согласился прийти сюда и отслужить молебен о путешествующих. Поп растерянно вертит головой, пытаясь понять, взаправду это или с ним шутят злую шутку, но атаман свистом вызывает всех на берег, велит стать рядом и обнажить головы.

– Да как же я?... Без певчих?... Без...

– Ничего, батька, мы подпоем.

Место у мостков неширокое, разбойники толпой обступают попа, тому страшно, и когда он заводит «Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно и во веки веков», голос его дрожит и срывается. Но Хлап звонким тенором тянет: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бесмертный, помилуй нас», и вид у него такой, будто он всю жизнь на клиросе пел. Поп успокаивается, и далее молебен идет своим чередом.

Прохор вместе со всеми крестится и поет «Господи, помилуй». В мыслях у него сумбур, и он цепляется за знакомые слова молитвы, чтобы унять эту круговерть, вернуть ясность гудящей голове: «Отче наш, Иже еси на небесех, да будет воля Твоя...» Но перед глазами пляшут языки костра, искаженное мукой лицо пытаемого мужика, баба, кулем лежащая в сенах... Те самые люди, которые волокли мужика к костру, сейчас стоят рядом, крестятся, славят пресвятую Троицу и вызывают к Николаю-угоднику... «Слава, слава, аллилуйя...» У Прохора сдавило горло; он часто моргает, крестится и кланяется.

После молебна попа отпустили с миром, вся ватага погрузилась в лодки с дуваном, и Тимошка Хлап, залиvisto свистнув, тем же сильным высоким голосом повел:

Посеяли лен за рекою,  
Уродился лен с бороною!

И гребцы, налегая на весла, подхватили:

Люли, люли, с бороною!  
Люли, люли, с бороною!  
Люли, люли, с бороною!

## Глава 9

Мягко плещется о борта вода, ходко бегут острогрудые струги под тугими парусами, а если обвиснет парус, гребцы налягут на весла, помогая себе бездумной песней. Ока стелется причудливой лентой меж зеленых берегов, неряшливо растрепавшиеся облачка висят над ней, охорашиваясь, смотрятся, точно в зеркало, пока оно не покроется рябью от набежавшего ветерка или не всколыхнет его какая-нибудь рыба, плеснув сильным хвостом. Куда ни глянь – даль неохватная, редко глаз зацепится за рожицу на бугре, далекую верхушку колоколенки или блеснувший под солнечным лучом медный крест; луга, перекатываясь волнами травы под играющим с нею ветерком, ждут косарей; стрижи носятся то над ними, то над водой; в прибрежных зарослях осоки трещат крыльями глазастые стрекозы. Но Наташа не глядит на все это: сидит, вжавшись в угол чердака на корме, не видя света божьего, и отказывается выходить на палубу, где пахнет дегтем, смолой, мужским потом и пригорелой кашей из общего котла.

В канун Дня Петра и Павла добежали из Касимова до Муром, миновав стоящее на высоком холме село Карачарово – имение Шереметевых, но там не остались, а поплыли дальше – в Нижний Новгород. Иван, никогда прежде там не бывавший, вышел посмотреть; Наташина мадам стояла рядом. За стрелкой, где Ока впадает в Волгу, открывался вид на краснокирпичный кремль, вскарабкавшийся на зеленую кручу правого берега, перебрасывая стены от одной башни к другой; под ними ярусами лепился посад, красовался прянично-нарядный храм; на пологом левом берегу протянулись Торговые ряды. Наташа и тогда не вышла; не видала она и Козьмодемьянска со старым острогом на пригорке, рвом, идущим сверху к часовне у самой воды, и бестолковой россыпью деревянных домишек, крытых драницей. И только когда причалили к берегу в Казани, она, покачиваясь на нетвердых ногах, сошла по сходням. Увидев ее бледное, опухшее от слез лицо с сизыми тенями под глазами, даже Алексей Григорьевич встревожился и спросил, не нужно ли позвать к ней врача.

Казань временно жила без губернатора: «царствовавший» там прежние пять лет Артемий Петрович Волынский, против которого было начато следствие за лихоимство, выехал в столицу, чтобы бить челом новой императрице и попытаться оправдаться. Начальством в городе остался вице-губернатор Кудрявцев, который и сочинил донос на Волынского. Оправдываться губернатору было не впервой: он уже изведal на себе гнев царя Петра, когда попался на тех же самых прегрешениях в Астрахани, где притеснял и донимал поборами и «подарками» инородцев. В Казань его назначили после смерти императора, и там он взялся за старое, хотя и для города сделал немало полезного: суровыми мерами пресек воровство и разбой, устроил освещение на улицах кремля, велел сломать ненужные деревянные «городские» стены во избежание новых пожаров. Долгоруковы ему в свое время благоволили, но Артемий Петрович не поддержал «затейку» Верховного совета, мечтавшего ограничить права новой государыни, чтобы оставить реальную власть в своих руках. Если уж при грозном Петре Алексеевиче уцелел, то и сейчас выкрутится...

Долгоруковых поместили всех в одном доме сразу за кремлевской стеной, у начала улицы, ведущей к Богородицкому монастырю, и приставили к ним караул – сменявших друг друга пятерых солдат, вооруженных ружьями с примкнутыми штыками. В Казани пришлось задержаться на неделю: большое судно, на котором могла бы сплавляться дальше вся семья, еще не успели подготовить. 8 июля был праздник Казанской иконы Божьей Матери, но ссылкой не позволили пойти в церковь. Воздух дрожал от гула множества колоколов, по улицам текли празднично разряженные толпы, и сестры Долгоруковы не отходили от слюдяных окошек: тихонько отворив окончину, таращились в щелку на людей, жадным взглядом выискивая диковинки: татарок в платьях поверх шаровар, черемисок с круглыми, как три сложенных бублика, шапками поверх платка и в узорчатых расшитых передниках, мужчин в безрукавках

и тюбетейках на выбритых затылках... Наташа лежала на кровати, отвернувшись к стене или уставившись невидящим взглядом в потолок; Иван маялся: с женой нудно, с отцом на ровном месте вспыхивали ссоры, с Николаем совестно чего-то, а с Екатериной они друг друга терпеть не могли. Скорей бы уж ехать, что ли...

Только Мария Штауден была вольна пойти, куда ей вздумается. Сенатский указ ее как иноземки не касался, но Макшеев предупредил, что далее Казани ей следовать за Долгоруковыми будет нельзя, придется вернуться в Москву. Мадам с тоской смотрела на Наташу, простертую на постели; даже думать о расставании с ее девочкой, которая выросла у нее на руках, было мучительно. Чтобы занять мысли и руки, гувернантка каждый день ходила на берег Казанки – туда, где смолили и конопатили судно для перевозки ссыльных, и обустроивала там под палубой каюту для Наташи: отгородила чуланчик, где она будет спать, обила стены плотным сукном, чтобы защитить от сырости. Рабочие привыкли к ней, приветствовали, называя мамашей, поставили на корме «павильончик» по ее указке. Их веселил ее ломаный русский язык, но вместе с тем вид этой дородной женщины, державшейся прямо и с достоинством, внушал им уважение. Окончив работу, оглядев все в последний раз (будет ли ее девочке здесь удобно?), пожилая немка присела на топчан и впервые задумалась о себе: куда она теперь? Что будет с нею? Где доведется окончить свои дни? Вера и Екатерина еще малы, но им наверняка взяли другую гувернантку. Конечно, граф Шереметев не выбросит ее на улицу, он даст ей рекомендацию в какой-нибудь хороший дом... И тут она так пронзительно почувствовала свое одиночество, что захотелось завывать, подняв голову вверх, как собака на луну.

Мария поскорее выбралась наверх.

– Уходишь, мамаша? – подмигнул ей молодой матрос, пробежавший мимо с ведром, шлепая босыми ногами. – Видерзейн тебе!

– Auf wiedersehen!<sup>3</sup> – чинно наклонив голову, ответила Мария. И внезапно застыла, пораженная новой мыслью: а не уехать ли ей домой?...

Дом... Трехэтажный, с островерхой черепичной крышей, плотно прилегающий к другим таким же домам, многоглазо тарасившимся на узкую мощеную улицу в ее родном Вольфенбюттеле... Как называлась эта улица? О майн Готт, она совсем забыла!.. Мария поднималась по зеленому пригорку к Казанскому кремлю и, глядя на белые стены и крытую тесом галерею над бойницами, вспоминала выгнутую улочку с непересыхающей лужицей посередине, стук деревянных башмаков по мостовой, вывеску на лавке господина Шлеггера и доносящийся оттуда колбасный запах, от которого во рту сразу скапливается слюна...

– ...Герр Шлеггер больше не отпускает товар в кредит, фрау Штауден. И герр Файнзель тоже. А мне вы уже два месяца не платили жалованье!

Служанка говорит с госпожой, не опуская глаз и даже позволяет себе повышать голос, а мать Марии, вместо того чтобы одернуть нахалку и указать ей на дверь, униженно просит еще немного обождать, ее муж должен скоро получить наследство... Господин Штауден – нотариус, он никогда не был богачом, а в последнее время дела и вовсе идут плохо. Как прокормить пятерых детей, как выдать замуж трех дочерей? Мария засиделась в девицах, ей пошел двадцать третий год... Странно, она совсем не помнит лица своей матери. Наверное, потому, что мать отводила глаза, когда говорила, что ей нужно поехать в Брауншвейг к дяде Клаусу и попытать счастья там. Знакомый крестьянин, чем-то когда-то обязанный герру Штаудену, согласился подвезти ее в своем фургоне; последнее, что осталось в памяти, – проселочная дорога от заставы, острый шпиль колокольни поверх липовых крон, которые становятся все меньше, дальше с каждым шагом низкорослой чубатой лошаденки. Именно дядя Клаус впервые произнес слово «Россия»: там можно заработать хорошие деньги, русские посылают своих детей в Европу, их надо учить языкам и политесу, а Мария грамотна, обучена разному руко-

<sup>3</sup> До свидания! (нем.)

делию и говорит по-французски, она может поступить в гувернантки. Не беда, что она не знает русского: принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской это не помешало выйти замуж за русского кронпринца Алексея... Дядя Клаус купил Марии кое-что из белья, новые башмаки, дал денег на дорогу и рекомендательное письмо к господину Альтбергеру, с которым когда-то три года проучился в Виттенбергском университете: теперь бывший однокашник проживал в Москве, в Лефортово. Путь Марии лежал на восток: Берлин, Франкфурт, Варшава... Дядя посоветовал ей не рассказывать никому без особой нужды, что она едет в Россию: время сейчас неспокойное, война, а царь Петр слишком напористо стал вмешиваться в дела немецких княжеств, с тех пор как выдал замуж свою племянницу Екатерину за герцога Мекленбургского. Лучше держать язык за зубами: того и гляди, какой-нибудь подозрительный трактирщик донесет в полицию...

Дилижансы, пыль, тряска, постоянные дворы, клопы, блохи, пьяные прусские солдаты, лодочные переправы через реки, снова пыль... Молодой девушке трудно и неприлично путешествовать в одиночку. Мария искала себе хороших попутчиков и каждому рассказывала иную историю: пожилому пастору из Магдебурга – что она спешит повидаться с больным отцом, который поехал по своим купеческим делам, но по дороге сильно занемог и теперь хочет благословить перед смертью единственную дочь; молодому французскому дворянину, намеревавшемуся предложить свою шпагу саксонскому курфюрсту Августу II и вызвавшемуся оберегать ее в опасном пути, – что она едет к жениху в Польшу, где стоят саксонские войска; польской помещице, следовавшей в собственном экипаже в Вильно с двумя дочерьми, чтобы поклониться мощам святого Казимежа, – что она сирота и хочет поступить в компаньонки к какой-нибудь престарелой одинокой даме. Путешествие заняло все лето и начало осени.

Когда Мария добралась до Москвы и разыскала герра Альтбергера – вдовца, сожителемствовавшего со своей служанкой, – Шарлотта Вольфенбюттельская скончалась родами, произведя на свет второго ребенка – младенца мужского пола. Через год вдовый царевич Алексей, бросив дочь и сына, бежал со своей любовницей во владения австрийского кесаря, потому что отец намеревался упрятать его в монастырь, но грозный царь Петр велел разыскать его, заставил вернуться и посадил в Петропавловскую крепость, где тот и скончался. (Ходили слухи, что царь сам пытал своего сына и велел казнить, но об этом говорили шепотом, оглядываясь по сторонам, и мгновенно трезвели.) Младенец Петр остался круглым сиротой, когда ему не исполнилось и трех лет. В двенадцать ему на голову возложили императорскую корону... К тому времени Мария Штауден, благодаря протекции Альтбергера, имевшего кое-какие связи в среде русской знати, уже давно жила в Кусково, исправно получая жалованье от хозяйственной Анны Петровны, вдовы фельдмаршала Шереметева. В доме росли семеро детей: две дочери от первого брака Анны Петровны (со Львом Кирилычем Нарышкиным) и пятеро от Шереметева – сыновья Петр и Сергей, дочери Наталья, Вера и Екатерина. Их образованием занимался учитель-француз, а воспитание девочек доверили Марии. Наташенька, выросшая под ее присмотром, осиротела в четырнадцать лет, и гувернантка заменила ей мать... Нет, в Германию она не поедет. Все письма, которые она по первому времени посылала в Вольфенбюттель и Брауншвейг, остались без ответа. Теперь ей уже почти сорок, на родине ее давно забыли. Она вернется в Москву и будет там ждать свою Наташу: Бог не оставит ее своею милостью, сохранит, убережет и дозволит под старость лет обнять самого родного человека...

Последний день, отпущенный на сборы, прошел в суете, хлопотах и волнениях. Согласно новому распоряжению, ссыльные могли взять с собой только по одному человеку прислуги: пять мужчин и пять женщин. Наташина девка оказалась лишней: свекровь и Екатерина сказали, что дадут невестке прислугу из своих. Выбранная ими девка была прачкой, и Наташе вовсе не хотелось брать ее себе в услужение, поскольку та больше ничего не умела: ни раздеть, ни обрядить, ни причесать свою госпожу, ни постель постлать, ни на стол подать; прежняя же девка валялась у нее в ногах и плакала горючими слезами, не желая расставаться с барыней. Однако пришлось покориться: Наташа была младшей, да еще и без копейки денег – не стоит

настраивать против себя новую родню, без которой ни за что не прожить. Мадам заставила ее взять шестьдесят рублей – последние деньги, что у нее оставались, и Наташа, присев за стол, долго выводила пером записку, высунув от усердия язык: «Батюшка-братец, Петр Борисович! Пожалуй, прикажи мамзели отдать сто рублей денег, понеже мы у нее занимали». Это письмецо она отдала свекру, прося отослать вместе со своими.

Сундуки и прочие вещи погрузили на телеги, сами же пошли пешими. Прасковью Юрьевну мучила одышка, она часто останавливалась передохнуть, а еще терзалась мыслью, не забыли ли чего. Устав от ее причитаний, Екатерина ушла вперед. На берегу Теодор передал своей госпоже заветный ларец, в котором она хранила самые ценные вещи. Он опустился перед ней на одно колено и приник к ее руке.

– Возвращайся в Варшаву, – сказала ему Екатерина, – передай от меня поклон...

Ее голос пресекся, она отвернулась, чтобы он не заметил слез в ее глазах.

– Всегда рад служить ясновельможной пани, – ответил он, как отвечал всегда. – Не позабудьте обо мне, когда вернетесь.

– Ты не знаешь этой страны. – Екатерина потупила взгляд и говорила почти шепотом. – Мне...

Рядом остановился капрал, выжидающе сопя, и она быстро завершила разговор по-польски:

– Żegnaj i pamiętaj o mnie w swoich modlitwach.

– Niech was Bóg ma w opiece <sup>4</sup>.

Наташа впервые зашла в свою каюту и остановилась на пороге. Везде была видна заботливая рука Марии: вышитые мережкой занавесочки на окошке, двойная дерюга на полу, обитые светлым сукном стены, застеленный покрывалом топчан и даже небольшой образ Николы Чудотворца в углу с теплящейся перед ним лампадой. Ни слова ни говоря, Наташа бросилась в объятия своей мадам и разрыдалась. Добрая женщина тоже залилась слезами. Так они стояли, плача и крепко держа друг друга за шею, пока солдаты не разняли их силой. Марию чуть не волоком оттащили на берег, а Наташа упала на топчан и лишилась чувств. Она не слышала, как поднимали сходни и отдали концы, как судно вышло на веслах из Казанки в Волгу, как поставили парус. А когда очнулась и, оттолкнув руку Ивана, дававшего ей нюхать спирт, побежала наверх, чтобы в последний раз увидеть город, где она навсегда рассталась с милым прошлым, кругом была одна вода. Наташа прижала ко рту кулачки, унимая горестный вопль, и тут заметила, что из перстня на руке выпала жемчужина. Наверно, она потерялась еще тогда, в суতোлке прощания. Наташа стянула с руки перстень с пустым зевом и бросила в воду: чего уж теперь...

---

<sup>4</sup> Прощай и поминай обо мне в своих молитвах. – Храни вас Бог.

## Глава 10

Пристав к берегу и выбрав укромное место, разбойники поделили добычу. Хлап захватил в кабаке пять тысяч казенных денег, так что пришлось по сто рублей на брата. Награбленное на подворьях сложили в кучу и раздали по жребию: один вытаскивал наугад какую-нибудь вещь: мужские порты, женскую утирку, ременные вожжи, пачку сальных свечей, – а другой, стоявший к нему спиной, указывал, кому ее отдать. Этот дележ проходил под взрывы хохота, радостные или огорченные крики, шутки и матюги. После началась мена, ожесточенные споры. Атаман, выждав некоторое время, гаркнул, уняв этот базар. К вечеру добрались до знакомой деревни, где можно было спокойно провести несколько дней и оставить у надежного мужика часть награбленного. Ночь прошла в пьяном угаре.

Прохор еще никогда не держал в руках столько денег: без малого сто рублей! Без малого – потому что, получив свою долю, Прохор сразу же отдал долг Митьке, и тот картинно изломал палочку с зарубками и бросил через плечо. Ночью Прохор пил вместе со всеми. К нему тянулись пьяные рожи с осовелыми, бессмысленными глазами, поздравляя «с почином», лезли целоваться слюнявые рты под влажными усами. Он тоже целовался, хлопал по плечам, громко смеялся, широко раскрывая рот, но для себя решил, что долго с разбойниками не останется: желтенькое это житье. Уходить надо непременно, вот только каким-нибудь образом выправить себе пашпорт, чтобы не угодить на съезжую. Из разговоров Прохор знал, что осенью разбойные шайки прекращают свой промысел и тянутся в Москву, чтобы там перезимовать, погулять на награбленные деньги и закупиться впрок порохом и пулями. Вот тогда-то самое время будет сделать ноги: Москва город большой, Прохор ее хорошо знает, найдет, где приткнуться. Пашпорт бы только раздобыть...

Один из любимых Митькиных рассказов был о том, как Хлап, когда его на Макарьевской ярмарке преследовали драгуны, не только ушел от погони, но даже отвел от себя все подозрения. Дело было так: Тимошка с тремя подельниками подломил лавку армянских купцов, но их заметили, закричали «Держи вора!». Они бросились врассыпную; Хлап забежал в торговую баню, скинул с себя всю одежду, кроме исподних портов, сунул ее под лавку, да так и вышел на улицу. Из бани он направился напрямик в полицейскую часть и заявил там, что он-де московский купец, у которого в бане увели всю одежду, деньги и пашпорт. Приставив к Тимохе караул, полковник приказал одному подьячему записать его показания, а потом отправиться в торговые ряды, разыскать там московских купцов и выяснить, доподлинно ли такой-сякой есть их товарищ, и какая о нем идет слава. Но Хлап посулил подьячему «фунт муки с походом да кафтан с камзолом», и тот, чернильная душа, не моргнув глазом доложил полковнику, что, мол, так и так, все верно: сей человек есть действительно московский купец, и товарищи его слова подтвердили. Хлап получил настоящий пашпорт сроком на два года, подьячему дали десять целковых, чтоб держал язык за зубами, а Тимохиным подельникам тогда тоже удалось уйти, замешавшись в толпу, что глазела на кулачный бой.

Конечно, такие хитрости да каверзы были не для Прохора. Врать он не умел, казенные заведения привык обходить стороной, грамоты не знал. Ляпнешь слугу что-нибудь не так, крючкотворы эти вмиг все на бумагу запишут, а у нас ведь каждый клочок в тюрьму волочет. Был бы он, как прежде, дворовым человеком князя Долгорукова, тогда бы еще все обошлось возвратом к господину – пускай сам со своими людьми разбирается. А теперь имени господина лучше не помянуть. Кто его знает, кому его людишек отдали, может, такому, как князь Черкасский, кто с беглых три шкуры спустит. А у Прохора еще первая голова на плечах и кожа не ворот. Он решил заначить денжат, вызнать потихоньку у разбойников, какого подьячего можно подмазать в Муроме или в Нижнем, чтоб наверняка и без скандалу, а уж как выправит себе настоящий пашпорт – ищи ветра в поле. Несколько целковых он зашил в шапку, еще с



десяток – за подопку рубахи, а остальные держал в сундучке, доставшемся ему при дележе, и спал, положив его под голову. Хотя среди разбойников красть у своих товарищей считалось последним делом, а все ж береженого Бог бережет.

На третий день гульба все еще продолжалась. В избе было смрадно, аж резало глаза, в пору топор вешать, и Прохор спал во дворе под навесом, укрывшись армяком. Он опять томился от безделья, но вчера Тихон обещал научить его палить из пищали, которую таскал с собой. Все-таки занятие.

На крыльцо вышел один из разбойников, морщась, посмотрел на мутное солнце – видно, голова трещала с похмелья, – чуть не свалился с покряхивавшихся ступеней, матюкнулся и тут же стал облегчаться. Тихон появился следом, кивнул Прохору; тот вылил ему на голову заранее приготовленное ведро воды. Отфыркавшись и утершись грязным рушником, Тихон разогнулся, передернул плечами; они взяли пищаль и мешок с огневым припасом. «Ну пошли, что ли...»

Учение решено было проводить на скошенном поле за деревней, у опушки леса. Тихон показал, как забивать в ствол шомполом пыж и пулю, потом поставил пищаль на сошку, насыпал на полку затравочный порох, спустил шептало – кремень ударил по огниву, высек искру, и Прохор вздрогнул от выстрела.

И тут, словно по сигналу, за спиной у них раздалась глухая барабанная дробь, заставившая обоих обернуться. Дробь сменилась мерным «трам-та-та-там», и под этот бесстрастный ритм, от которого становилось жутко, к деревне двумя рядами шли человечки в солдатских мундирах и треуголках, с ружьями наперевес. Прохор и Тихон смотрели на них, разинув рот. Но вот в деревне послышались крики, беспорядочная пальба; человечек, шедший с краю, взмахнул блеснувшей на солнце саблей – и солдаты побежали вперед.

– Ходу, паря, – сказал Тихон. – Доспеют они нас.

Бросив пищаль, он первым побежал к лесу; Прохор нагнал его и вырвался вперед. Услышав сзади «Стой! Стой!» и громкий выстрел, от которого екнуло сердце, надал еще.

Бежать было тяжело, он спотыкался о кротовины, тяжело дышал открытым ртом. Снова грянул выстрел, прямо над головой прогудела пуля, и Прохор инстинктивно пригнулся, метнулся в сторону, как уходящий от погони заяц. Еще один – и сзади надрывно крикнул Тихон, а Прохор от неожиданности упал, ободрав вытянутые вперед руки и исколовшись о стерню. Полежал немного, загнанно дыша, пока перед глазами расходились зеленые и оранжевые круги, потом осторожно оглянулся.

Тихон лежал, изогнувшись, на правом боку, поджав ноги и запрокинув голову с оскаленными от боли зубами; из его левой руки хлестала кровь и торчал обломок сахарно-белой кости. Прохор смотрел на это вытаращенными от ужаса глазами и чувствовал подступающую дурноту. Неясные окрики сзади и собачий лай привели его в чувство. Он огляделся: до леса было уже недалеко.

– Тихон! Эй! Тихон! Вставай, дядя, пошли, тут недалечко!

В глазах Тихона застыла темная боль, но он все же перевалился на колени, опираясь на здоровую руку, попробовал подняться. Прохор рванул его кверху за пояс, закинул его правую руку себе за шею и потащил к лесу, чувствуя горячую липкую кровь и холодея спиной от страха.

Когда они продрались сквозь заросли папоротника и ольшаника, Тихон отпустил его шею и тяжело рухнул наземь.

– Не нашли бы нас... по следу-то... – с высвистом прохрипел он еле слышно.

Лицо его залила смертельная бледность, волосы налипли на потный лоб. Из изуродованной руки все еще сочилась кровь, и Прохор, сняв с себя пояс, перетянул ее повыше раны, затем оторвал полосу от исподней рубахи и, преодолевая тошноту, кое-как перевязал. Поискав вокруг, принес длинную ровную ветку и попробовал приладить к ней Тихонову руку, чтобы

не болталась в разные стороны, разбрызгивая рудые капли. Тихон снова вскрикнул – и закатил глаза.

Прохор подхватил безжизненное его тело под мышки и потащил, но очень скоро выбился из сил. Чуть отдышавшись, подлез под Тихона, взвалил его на закорки и понес на себе. Пот заливал глаза, пересохшее горло кололо иголками, ноги подгибались, и, скатившись в небольшой овражек, засыпанный прошлогодней опавшей листвой, Прохор отпустил свою ношу и сел на землю, тяжело дыша.

– Ты, паря, брось меня тута.

Прохор даже вздрогнул, когда очнувшийся Тихон негромко, но отчетливо произнес эти слова. Он полулежал, глядя прямо перед собой; его лицо казалось восковым, под глазами залегли синие тени, рот запекся. Осторожно поддерживая за шею, Прохор усадил его ровнее, стараясь не касаться больной руки.

– Пить, – попросил Тихон.

Вылезать из овражка было страшно. Прохор долго собирался с духом, прежде чем решиться на это. Выполз ужом на противоположную сторону, посидел немного в кустах, выглядывая, нет ли погони. Но вроде нет никого. Ему и самому хотелось пить, и он пошел вперед наобум, в надежде найти какой-нибудь ручей или болотце: лес – сплошь береза да ольха, дуб да осина, где-то должна быть вода. Была бы сейчас весна – можно было бы березовым соком напиться, но его пора давно прошла... Чутье повело его куда-то вбок; земля под ногами зачавкала, и в зарослях ивняка в самом деле отыскался ручеек шириной с ладонь. Прохор лег прямо поперек него и долго пил, как лошадь. Но как он Тихону-то воду понесет? Не в горсти же? Да и руки у него в крови и в грязи... Побродив по бережку, нашел лопух побольше, свернул в кулек, кое-как зачерпнул водицы, понес бережно, мелкими шажками, боясь не донести... Пару раз казалось ему, что он сбился с пути, идет не туда, и он начинал топтаться на месте, озираясь в поисках примет; и каждый раз словно какая-то незримая рука подталкивала его: туда, мол, иди.

Тихон сидел в той же позе, в какой он его оставил, только часто и глубоко дышал. Глаза его были широко раскрыты, словно он чего-то испугался. Прохор стал лить воду ему в рот, но поди-ка напои человека из лопуха: почти все пролилось по бороде. Пришлось бежать обратно к ручью... Когда он вернулся, Тихон лежал на боку. Прохор смочил свои пальцы в воде и провел по его губам. Полуприкрытые веки Тихона затрепетали, словно он силился раскрыть их и не мог; он глубоко и прерывисто вздохнул, дернул головой – и застыл.

На Прохора нашло оцепенение от усталости. Какое-то время он сидел, ни о чем не думая, слушая щебет птиц где-то в вышине. Потом достал из-за голенища нож и стал вспарывать дерн, чтобы вырыть Тихону могилу.

Земля была мягкая, Прохор вычерпывал ее руками, разрыхлив ножом, и где-то через полчаса неглубокая яма была готова. Стянув в нее Тихона за ноги, Прохор кое-как сложил ему руки на груди, прочитал молитву, засыпал землей, обложил холмик дерном и притоптал.

Куда теперь? О том, чтобы вернуться назад, не могло быть и речи, но и здесь оставаться было боязно. Солнце еще проглядывало сквозь верхушки деревьев, играя лучами, но уже клонилось к закату. Прохор решил идти за ним и, поручив себя Николе-угоднику, двинулся через лес.

Человек он был городской, лес был ему чужим. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда. Да и голод, до сей поры притупленный страхом, теперь напоминал о себе. Еле заметная тропинка вывела Прохора на черничную поляну; он стал ползать по земле, собирая ягоды: наберет пригоршню – и в рот, но разве это еда? Только в животе заурчало, и теперь уже есть захотелось по-настоящему.

Что-то мелькнуло за кустом, закачалась ветка – белка взвилась вверх по стволу, скрылась за ним, потом снова высунулась, головой вниз, поглядела на человека – вроде не опасен, а все ж; порск – и нет ее. Какая-то еще мелкая живность шевелилась в траве, завершая дневные дела.

Птиц не слышать, даже ветер стих; настала торжественная вечерняя тишина, с какой обычно провожают солнце. С восточной стороны, откуда пришел Прохор, уже подступали сумерки; от травы подымалась белесая дымка.

Прохор смертельно устал. Ноги подгибались, не держали. Он решил заночевать здесь, на поляне, под старой мохнатой елью, которую обступили молоденькие пушистые елочки. Нарезал ножом лапника, чтобы не сидеть на сырой земле, соорудил себе колючую подстилку и тяжело опустился на нее, прислонившись спиной к замшелому стволу. Возле потного лица вились и зудели комары. Прохор надвинул поглубже шапку, подумал, не снять ли сапоги – все полечче будет саднящим ногам, – но не стал и впал в тяжелую дрему.

Очнулся он внезапно, как от толчка. Была уже глубокая ночь, на небе сияла луна. Хотя она шла на ущерб, вся поляна была видна как на ладони, и от этого почему-то стало страшно: в черных прогалах между деревьями мерещились чьи-то быстрые тени, чьи-то горящие глаза... Вдруг волки? А у него ни огнива, ни кресала... Пролетела какая-то ночная птица, мягко взмахивая крыльями, где-то словно хрустнула ветка, ухнул филин... Струйка холодного пота стекла по спине, онемевшей от неудобной позы. Несколько часов Прохор провел без сна, напряженно прислушиваясь к каждому шороху, потом его снова одолела усталость. Луна укатилась куда-то ему за спину, положив на траву огромные разлапистые тени, потом поблекла, и вновь сгустилась тьма. От земли тянуло сыростью, становилось холодно; когда небо начало сереть, Прохор совсем продрог. Подтянув к груди колени и засунув руки под мышки, он сидел, дожидаясь рассвета, и как только над головой послышались первые пересвисты пташек, приветствовавших еще невидимое солнце, встал и, преодолевая ломоту во всем теле, побрел дальше в лес.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.